

Сергей Шелковный

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА

ББК 84.4 УКР-РОС
Ш 44

*В оформлении обложки
использована живопись И. Босха*

Шелковый С. К.
Ш 44 Небесная механика: Книга стихотворений. — К.: Радуга,
2009. — 158 с.

ISBN 978-966-1642-05-7.

Стихи, написанные за последние три года, составили основной свод новой книги Сергея Шелкового, известного поэта, лауреата многих литературных премий.

Полтора десятка изданных книг, сотни публикаций, тысячи благодарных читательских откликов. Но и сегодня каждое новое стихотворение пишется снова — с чистого листа, снова — на полноте живого дыхания и сердцебиения.

ББК 84.4 УКР-РОС

ISBN 978-966-1642-05-7

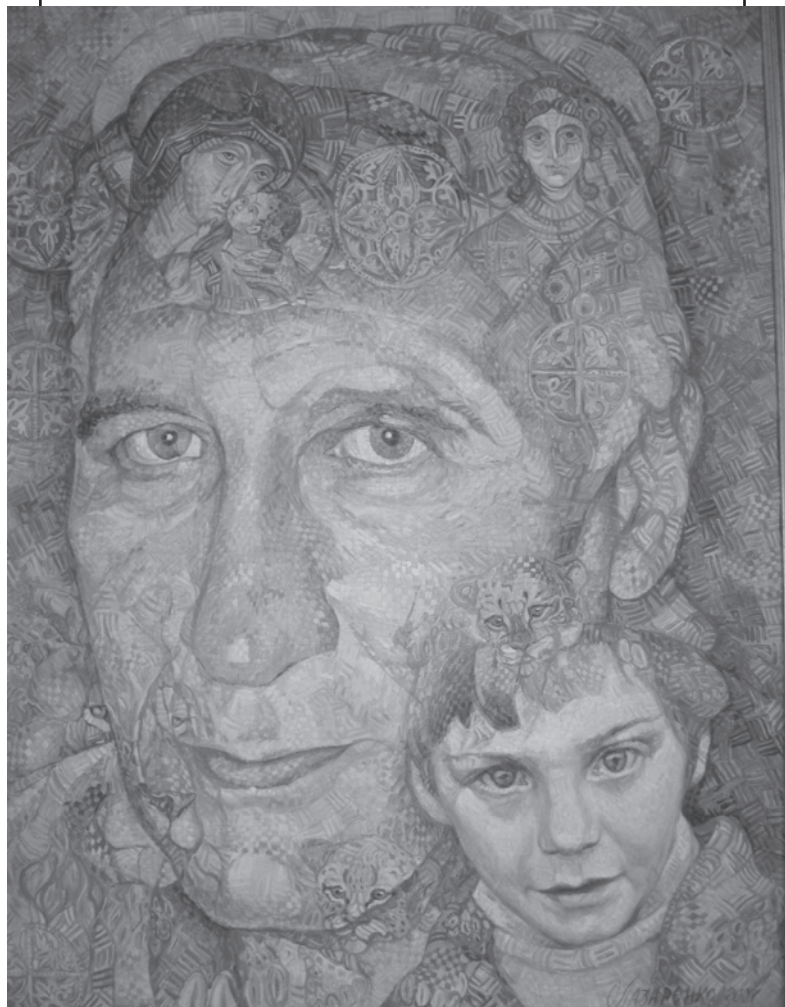
© С. К. Шелковый, 2009
© О. П. Горшков,
заключительная статья, 2009

Сергей Шелковий

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА

Книга
стихотворений

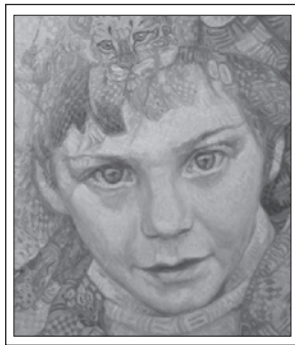
Киев
«Радуга»
2009



О. Лазаренко. Портрет С. Шелкового с внуком Мирославом, 2007, холст, масло, 90х70.

1

День-подлинник



* * *

М.

Круги, овалы, эллипсы и дуги
стрижи в полёте чертят неспроста.
Не зря их крылья – веерно-упруги,
не зря изящна вильчатость хвоста.
И если о моей любимой птице
меня ты спросишь, первенец-малыш,
мне не придётся, милый, усомниться
в единственном ответе: «Летний стриж!»

Вдоль каменных аркад сникают годы –
уклон, откос, измена на излом...
Но как неодолим инстинкт свободы –
чертёж стрижа в пространстве мировом!
И мы с тобой вдоль синих дуг летаем,
и прощены, и ввысь вознесены, –
соратники и острокрылым стаям,
и тонким дням июньской белизны...

2007

* * *

Не забыть, как серёжки черешен и пригоршни песен
на июльской ладони мне жадина-жизнь подносила.
И когда мне кадык прогрызёт тупиковая плесень,
оживёт в переулке-струне молодильная сила.
Не сказать, как вишнёвых деревьев пунцовые кроны
над забором-горбом ни за грош, по любви, вызревали!
И когда упаду я обломком лепнины с фронтона,
карнавалы красавиц и дружных стрижей фестивали

мне качнутся вослед, догоняя, рифмуя, прощая...
Снова синь грозовая чернильною станет и чёрной.
Над простыми предметами и непростыми вещами
головою качну я в ответ, понапрасну учёной.
А проснусь ли живым – подпою! Ибо вечные звуки,
махи пчёл, махаонов, стрекоз, темперируют воздух –
Словно Бах, Иоганн Себастьяныч, берёт на поруки
Фредди Меркьюри шалого – в тающих утренних звёздах...

2008

* * *

День-подлинник по-взрослому проснётся,
по-детски пролепечет «С добрым у...»,
румянцем расцветающего солнца
помечен, словно встречен по уму.
И скромница, наяда Боттичелли,
из раковины выйдя на песок,
качнёт, под ивой, варвара качели,
рассыпав перлы, нитку-поясок.

День-подлинник в проёмы ранних окон
умчит тебя, в сплетенье тех ветвей,
где махаон проклюнулся сквозь кокон –
наследник династических кровей.
Белея, парусит цветок летучий,
легчайший геральдический зверёк.
Когда б не этой жизни общий случай,
когда б не друг и брат, – не потрох сучий, –
и ты летал бы. – Вволю, между строк!

2008

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА

Великий кельт, максималистский Максвелл,
мятежный гений электроцентралей!
Рвёт ветер с треском парусину-стаксель.
Пусть мы, спасаясь ныне, холст убрали. —
Надолго ли?! Дурная турбулентность
гнёт и гнетёт живое к низу почвы.
Непокаянье явнее, чем бедность,
лишает нас тепла бумажной почты.
Крепчает чёрных дыр студёный гул.
«Рабочий ангел купол распахнул»,
но, словно яма в тёмном переулке,
глобальный Голем рот разинул гулкий,
в чью глубину презрительно манит
бесплатный сыр. И слёзы вдоль ланит
струит торгаш от всей души дешёвой,
как тётя Валя в бойком ретро-шоу
на чёрно-белом брежневском экране...
Персты Фомы застряли напрочь в ране —
иначе невозможно объяснить
те тучи энтропийных насекомых,
что лезут во все щели, жгут, трещат,
вопят «Купи!» и, нестерпимо жаля,
сосут из жил уже последний смысл,
последний огнецвет живого сока...
Век алчущий заученно-жестоко
железнодорожный празднует заглот!
Механика небес ещё ведёт
луч утра по колдобинам-пределам,
но высь и ось — под гибельным прицелом...
И Максвеллу, тускнеющему в целом,
вдгон Тойбой ли послан, зимний Бог, —
на куцых лыжах босоногий Босх?

2007

НАД ПАРТЕНИТСКОЙ БУХТОЙ

Праздник – пузырьчатая изабелла.
Август – таврическое божоле.
К Спасу Медовому бражка поспела
и усмехается навеселе.
Полночь вздымает Галактики дуги.
Звёздного купола арочный взмах
выгнут, как смуглое тело подруги –
в опийных, где-то на юге, полях.

Воздух пропитан вином и виною,
лёгок крепчайший настой тишины.
Чёрною и самоцветной волною
в бухту спешат первобытные сны.
О, Партенит, совершенство узора!
Спит Аю-Даг, захмелевший старлей.
Падает роза на лапу дозора –
белый болид белладонных полей...

2007

ВОСТОЧНАЯ КУХНЯ

В середине августа – жёлт инжир,
ибо лето красно, как рай-эдем.
С чебурека каплет горячий жир.
Торгаша зовут не Адам, а Эдем.
Это Крым – исламский по чресла край.
А чей выше чресел – не разберёшь.
Меж шурпой и водкою выбирай
и за всё плати окаянный грош.

Погощу сегодня, – в который раз, –
на плато Ай-Петри, Завет-горы,
где блюдёт Корана смолистый глаз
все шайтан-котлы да шашлык-шатры.
Всё бурлит, кипит, в оборот идёт,
то баран свежуеться, то баклажан.
И несёт гяуру в зубастый рот
поднебесную пищу кормилец-хан.

В этой сочной-смачной далме-сарме,
в дымламе дымящейся, говорю,
не ищи коварства. В чалме-уме
только мысль – оуклиться к ноябрю,
чтоб, серятину-зиму в зелёный чай
пополам с лепёшкою обмакнув,
снова крымскую песню «начни-кончай»
затевать под майский сквозняк-наддув...

Но пока ещё – август, сезам-сезон,
поцелуй копилку, Эдем-баши,
и ножом, прямым, как прямой резон,
свой лиловый лук и чеснок кроши!
В Партенитской бухте, средь тесных стен

бабы Веры Павловны Чеботарь,
будет снится пир мне – без взятых в плен –
виноградных грядок узор-рефрен
и гостей скликающий, как Диоген,
хан Эдем с вершины, шашлычный царь...

2007

СНОВА В КАФФЕ

За слепцами, за Фанни Каплан –
очи чёрные, По или Грина.
Освежи мне, кабатчик, стакан!
Вот тебе насовсем моя гривна.
За эсрами в линзах-очках –
агитатор от жеста и танца...
На железных базарных крючках
розовеет свежати́на агнца.

Перламу́тром мерцает баран,
на рассвете ободранной тушей.
Возвращённою Каффою пьян,
чую суть я – меж морем и сушей.
Саперави, как избранный труд,
настоялся и терпко, и густо.
В виноградных корзинках несут
молодильное мясо искусства.

Феодосия, Малый Стамбул!
На двадцатое лето разлуки
я опять нашей дружбе вернул
винных ягод иллюзии-глюки.
Вдоль понтийских портов бандюки
катафалками катят в премьеры.
Но с холма Карантин будяки
вдаль алеют – за хлорку холеры.

И, как ветер с Босфора, хорош
первый день новых, Каффа, каникул,
где начхать мне на нищенства грош
и на притчи порочных Калигул.
Всё бродить бы по склонам твоим –
до утра, до рассветного дыма,
целя дальше – в Эски Кырым,
в захоlustие Старого Крыма....

ЭСКИ КЫЫРЫМ

13-й век, Золотая Орда,
осколок майолики, дзынь-ерунда
из почвы Эски Кыырыма...
Но исподволь жёлтые искры-глаза –
Керим ли, Гирей или Кара-Мурза? –
узор прозревают незримо.

До Старого Крыма за сорок минут
автобус дотащится. Здесь меня ждут
среди дрёмы камней дружелюбной
бурьян и тутовник. И грецкий орех,
томительно-терпкий, как гурии грех,
плечистый, как классик Поддубный.

Доверчива тишь малолюдного дня.
Никто про пароль здесь не спросит меня,
про выход мой из окруженья,
про отчество матери, норов отца,
упрямца, «Шахтёрских» сигарок курца,
про цели и средства движенья...

В упорстве молчанья – глубинная речь.
В обломке керамики – прочность невестреч
разбитого вдребезги века.
И молча в безлюдье былых городов
я вкатывать яблоко солнца готов,
дабы отыскать человека.

А глиняный век, Золотую Орду,
осколок тарелки я в плен уведу,
итожа торговлю пятёркой.
Глазурью – не я ли анфас отражён,
с мускатною гроздью возлюбленных жён.
с курительной трубкою горькой?

2008

РЕТРО-КИНО

О, как был тот июль до ресницы промыт!
Как пропел, просвистал и прошёлкал не зря!
Яркоглазый горошек в букете стоит,
эпизоды семейного лада даря.
Дорожает родительский хлеб и вино,
и за скромницу-квитку дерут три рубля.
Родила меня мать, словно в ретро-кино,
меж дрожания кадров... Но песня-земля

проводжала июль, так красна-горяча,
так лилов был горошек, кудряв и душист,
что и сойка сулила мне фарт у плеча,
и про счастье гнусавил блатарь-гитарист...
В чёрно-белом кино тонет крейсер «Варяг»,
сквозь сучки отщепенства и нищенства гул
в дежа вю вседержавия – целится враг...
И в июльский Донец я с разгона нырнул,

дабы, вынырнув, вспомнить, как поздно теперь,
на одном лишь отчаянье, к берегу плыть...
Где отцова ладонь, что тяжка, словно дверь?
Где волошки и крестики, матушки нить?
Отщепенство моё – доживать мне без них.
Вспоминает душа, солонеют глаза.
По любви от заката зачавшая стих,
багрянеет фамильной реки полоса...

2008

ЧЕМПИОН

Гарик Целовальников – как Оскар Уайльд.
Светятся на выкате-вылупе глаза.
Помнится, на велике, третьеклассник-чайльд,
нездоровой местности первенцы-друзья.
Как плечища мощные, – железобетон, –
в домовину втиснул ты – я не увидал...
Как «в пристенок» резались, кореш-чемпион,
это помню! – Звонкий наш медный капитал

с Гарюном делили мы, о кирпич-торец
ударяя – с воплями! – пятаком-гербом.
И гербу, с колосьями, с лентами, – копец,
и уплыл от площади Фейербаха дом
к незнакомой пустоши, к музыке чужой...
Прошное охрупчилось, хрустнула педаль.
Лишь сияет в Мюнхене, на груди большой
олимпийца-гонщика, золото-медаль.

Глория, виктория! А и не попрёшь
против факта – фак его! – сторговал Гарюн
велик героический за германский грош.
На зеро нарезался Игорёк-игрун...
Завертелось спицами, под гору пошло –
не у дел динамовец, из бетона куб!
Целовал целебное цельное бухло
Гарик Целовальников – аж до сини губ.

Руль держал, пикировал – лет до сорока,
до нелепой гибели – нет, не просыхал...
Проводы поспешные, смывая строка...
Но не ящик вижу я – школьника пенал!
Но на икрах бронзовых, вздутых, – чем не он?

По двору промёрзлому, с клюшкой, без коньков?..
Гарик Целовальников, братец-чемпион!
Так мы и представимся – там, среди облаков...

2007

АРАБЕСКИ

О, побережье царственных синьор –
Валенсия, Малага, Барселона!
И чуть на север, у Невады склона,
Гранады мавританский влажный взор –
вишнёво-фиолетовый костёр
гранатов на руке коварно-смуглой
и берберийский варварский рубин,
ток полноцветья, равного надежде!
На площади соборной полукруглой
За склянкой тинто я сижу один,
как век назад, на том же побережье –
в помятой путешествием одежде,
в утративших невинность башмаках...

И если некий скептик буркнет «Ах,
подумаешь!», мне нечего ответить –
не из смирения, но по существу:
мне кажется, я для того живу,
чтоб среди вещей отчётливых приветить
то самое, чему одежды нет
под пару. Но вибрация примет,
но к разбеганию узора склонность
как бы скрепляют изнутри предмет
внимания, живут неутолённость
художника. На свой особый лад
и сатана вину флюидов рад,
но это разговор иной... Гранада!

Бессмертью арабесок сердце радо
настолько, что растёт гемоглобин
в анализе моей нездешней крови.
Когда бы не обилие седин,

я сдался бы влюблённости на слове
«Гранада». – Рокотание и рок,
в зелёном и малиновом пророк,
кузен Христу, племянник Игове...
Как радостно, как жаль, что мой порог
засыпан снегом. Яблочный пирог
в мороз пеку я, «Будь!» пою на мове
и в чёрно-алом не умру алькове. –
Хотя и не спешу давать зарок...

2000, 2009

ШЕСТВИЕ В БУРХАССОТЕ

Дон Педро, повелитель Бурхассота,
с террасы озирает Burjassot,
чьи переулки, как прищур сексота,
чей артишок, – похожий на осот
пучком колючих листьев, – у платформы
одноимённой станции метро
растит шишак-деликатес для корма
гурману. Златотелое зеро
взошло. – Дон Педро, к завтраку готовясь,
как будто собираясь на войну,
опасной бритвой выскоблил на совесть
со щёк и подбородка седину.
Итак, воскресным утром Бурхассота,
над пемзой ноздревато-древних плит,
бравурная воинственная нота
из трёх десятков духовых звенит
серебряных раструбов и латунных.
Я там, в потоке этих маршей, был,
когда, исполнен коренастых сил,
в сопровождение музыкантов юных,
хозяин Бурхассота, важный дон,
вышагивал заглавную походкой
по валенсийской почве. Яви сон
окрашен был тревожащей и кроткой
ноябрьской приглушённой желтизною
и сальводорским (понимай – Дали)
природным сюрот. Так, вблизи-вдали,
пластично деформируются в зное
все абрисы, обводы, силуэты,
церквей фигуры, контуры дерев...
Спешил оркестр, чеканкою песеты
и россыпью реала дорогой

времени. Всё притче мафиозный лев, –
уже с одною доньей, с другой
плыл под руку, угодливой гурьбою
улыбок, восклицаний и хлопков
встречаемый повсюду. Под резьбою
узорных гребней, в кружеве лобков
у гордых доний завитки вздымались
и, вздрагивая нервно, распрямлялись
навстречу фавориту... Бурхассот!
Не каждому пришельцу повезёт –
вдруг заглянуть за жалюзи декора...
Я пробыл час в гостях у Сальвадора.
И русская жена его, Гала,
любезно отложив свои дела,
с намёком на доверье мне сказала:
«Супруг мой – сущий дон, хозяин бала,
хоть поневоле – мелко-приткий бес,
за коим не успеть в штрафной площадке
голкиперу. Ну, что ж, как интерес
оставить миру пальцев отпечатки
его проказы метит иногда?
По сути он – всевластная вода,
взбуханье почвы бурого окраса,
бег пузырей глубинного закваса,
ток зноя, размягчивший циферблат.
Он – постулат расплавленного часа,
умноженного на себя стократ...
И, кажется, он – дон Педро брат,
того, что в переулках Бурхассота
столь вдохновенно множит ноль на роль!
У них процент железа и азота
в крови один: о волосках забота,
жестокий и молитвенный король,
слух тонкий – на конце клинка бемоль...

И полотняннокрылые армады
хранящих Пиренеи кораблей!
И что чернее правды Торквемады?
Что побледневших смуглых щёк белей?»

2000, 2007

ПИСЬМА С КРЫМСКОГО БАЛКОНА

1.

На прямую надеяться, друг мой, сегодня нелепо.
Повезёт, если вывезет часом дорога кривая.
Разлюбил я все зрелища, стал не охоч и до хлеба. –
Календарные тихо записки-листки обрываю.

Между скифами слова незлого и встарь не водилось.
А на днях, и подавно, добро отменили декретом.
Если снег упадёт, я вполне оценю эту милость,
хоть июльский я фрукт, и согреться могу только летом.

Всё трудней приезжать мне к желанному некогда морю.
Одиноко вдвоём, одиноко на людной гулянке.
Длится время во мне и снаружи. Подобному горю
не помогут дельфин говорящий и Ельцин на танке.

Подметаю балкон, и шуршит бородатый мой веник,
но посланье к тебе, уж поверь, завершаю при этом.
Если знаешь, где взять хоть на зуб неотравленных денег,
поделись и со мною своим кулинарным секретом.

Уж кого ни читали мы, брат, на приморском балконе,
что за образы ни воспалялись в лирическом сердце! –
А в загоне не те. И не те, особливо, в законе...
Впрочем, каждому – свой, как сказали бы в Риме, сестерций.

Что до Рима, увы, – продолжаю ценить понаслышке.
А вприглядку – люблюсь отчизной в разобранном виде.
Допускаю, однако, что дома метафор в излишке:
здешний воздух шершавый глотнул напоследок Овидий.

Прекращаю писать. Не хотел бы прослыть говорливым.
Не пристало нам, друг мой, к сединам дружить с болтунами.
Время к вечеру клонится. Юг остаётся красивым.
Шума больше, чем прежде. Но нету угрозы цунами.

2.

М.

С монголфьера-балкона, – в хлопчатых бывалых шортах, –
в час сиесты сочувственно вслушаюсь в родственный шорох
стихотворному ритму нечуждой волны понтийской,
работающей близко. И с берега этой запиской
о тебе, наследник мой льняноволосый, вспомю.
Ибо я всё ищу своему землепашеству ровню –
там, в минутах свиданья на улице Жён Мироносиц,
где решает отец с нежно-розовой мамой вопросец,
и в другой стороне – в сочленённой из пик оgrade,
где простится мне всё, и Христа, и язычества ради...
Где оставлю в осадке я, максимум, дюжину стансов,
для которых прочтенья без желчи и реверансов
я хотел бы. Но, впрочем, желание это
есть типичный симптом для невольника чести, поэта...

Извини мне, дружок, этот мессидж в конверте из Крыма,
где связались пути, те, что далее выются незримо
до родных островов, где на эллинских скалах я вырос,
хоть по-гречески помню лишь альфу, как Папасатырос.
В сернокислом году этом, – от несварения Феба, –
обжигающий зной изливается в августе с неба,
и в цветах ленкоранских акаций размножился бражник,
мотылёк, толстобрюхий, как честного вора бумажник.
Но тугая вода, но первичного лона стихия,

где и вволю грешил, и смывать порывался грехи я!
И для взора просторного, и для широкого вдоха –
хорошо! Яко Кормчий сказал – хорошо, а не плохо!

Оттого, эллин мой, мне бы очень и очень хотелось,
хоть и глупо мне брать на себя ожидания смелость,
чтобы день наступил, когда плыли бы молча мы рядом
в параллель Партениту, смоковницам и виноградам,
у границы буйков по сентябрьскому синему Понту,
вдоль отвесного берега, – не к миражу-горизонту, –
а вдоль спелых пейзажей из зелени, охры и мела,
вдоль крупитчатой правды, что не изолгаться посмела.
Ибо в старом пароле, ещё не отжившем, – «Эллада» –
на свой лад, но таится пропажа семейного лада...

2000, 2008

* * *

И.

Слезой сочится вдоль разреза дыня,
и крестиком цветка медовый Спас
божится так на склоне благостыни,
что кажется: реальность – не про нас.

Томятся связки розового лука
в лиловой стрекозиной коже.
Пора запасом зимним друг для друга
заняться в тороватом сентябре.

Ты помнишь ведь транзитный Симферополь,
вокзальной башни камень-инкерман?
Ультрамарин расплёсканный и кобальт,
людей базарных смуглолицый клан...

И разве лето – не смешок транзита?
Билет на юг, и тотчас же – назад...
Пустое это дело – дольче вита.
Давай нацелим на хозяйство взгляд.

Кто там, меж рам, багряную калину
спешит на нитку нанизать опять?
Кто, под овчину пряча волчью спину,
в избушку к нам скребётся зимовать?

2003

* * *

Тоньше усика земляничного,
через грядку июнь-стригунок –
сиганёт! Полнозвучья античного
полон летний ребячий манок.
Кто играет на дудке ореховой?
Флоры ль, фауны Фавн или Лель?
Ты ли сам – хромосома с огрехами,
в зле генома божественный хмель?

Пива с водкой любовь бестолковая
золотого взболтает ерша.
Тоньше усика мотылькового
пульс прочертит строка-анаша –
в небе том, где всё сразу обещано,
в белом мостике через июнь,
в ласке слов оживающей женщины:
«Не спеши – успеваешь, Сергунь!»

2007

ТРОИЦА

Отгремела гроза, и до одури липы запахи.
Снова Троицы дух снизошёл на апостольский круг.
Снова каплют с ветвей послеливневой свежести капли –
то ли высверки слёз, то ли drobных минут перестук.
В полдень в церкви шуршит под ногами душистое сено,
от кленовой охапки струится воздушная взвесь.
Молодеет Твой храм, как жасминовый куст, неизменно.
Дай побыть ещё, Отче, в саду Твоём – ныне и здесь!

Я – Твоё ведь создание, Твой певчий, стоически-слабый,
ибо всё, что люблю, – невесомей слезы дождевой...
Освежи моё сердце кленовой шумливою лапой
и укрой меня на ночь хмельной, приалтарной, травой.
Может быть, без похмелья удастся мне утром проснуться,
помолиться в родные, промытые ливнем, глаза...
Я – Твоё ведь подобье, не пришлый с летучего блюда.
Липы счастливы, в мокрых соцветьях. Утихла гроза.

2008

ЗАВОДСКАЯ ОКРАИНА

Там, меж пивным и обувным ларьком,
на фоне труб секретного завода
вскормил меня главком с большим курком
послевоенным жилистым куском,
вспоил нарзаном из водопровода.
И там от материнского лица
я не сумел наследовать румянца,
но взял я смуглость кожи у отца,
тяжёлый взор и ощущение танца,
а стало быть, и ритма речевой
конструкции, внезапно приходящей...
Зачем-то вновь в медвежий угол свой
стал приезжать я. Что ни год, то чаще.
Зачем – невесть, ведь сорок с лишним лет
тому назад с окраины восточной
я съехал, прихватив как амулет –
о своенравном школьнике сюжет
и перлы речи, непечатно-точной...
Там, меж киоском с «Резкою стекла»
и заведением «Українськи стравы»,
минута воробьиного тепла,
пора адреналина прочь ушла,
оставив на губах налёт отравы
тончайший, как церковная сусаль,
микрона, может, три или четыре.

И пролетарий, закалявший сталь,
теперь лежит в застуженной квартире
(в той, где из крана пил я в прежнем мире)
один – под одеялом, под пальто
поверх прорех и клочьев драной ваты. –
Лет семьдесят в чугунный суп не то

всыпали, что завещано когда-то
Потопом, Моисеем, наконец,
Назаретянином золотоглазым.
И ты распят, больших гвоздей кузнец,
ваятель ГЭС, воспламенитель ТЭЦ...
Абсурда пьесы не постигнет разум –
ведь сценарист с утра до ночи пьян,
Тмутараканью-сценой пляшет холод,
и, – режиссёр обкурен иль наколот, –
но роли те же: карлик-истукан,
гранитный фал асфальтовых полян,
и Люцифер двустворчатый, и Воланд
во всадниках наследного вранья,
в холопстве вековечного молчанья...
Невыносима тяжесть хроник дня –
я в силах – лишь оставить примечания,
лишь зябко ждать, что зимние слова
не канут в глину-оторопь, в удушье
юдоли той, где не бросаю гуж я,
окраины, что Бог весть как жива...

2000, 2008

* * *

Пока я в скафандре летал на Луну и обратно,
ты делал негромко большое и нужное дело:
в аренду сдавал нефтяные и белые пятна
и нежное грёб – земляника со сливками – тело.
Покуда мой горн золотился на синей ступеньке
и утро трубил вертикально во здравие неба,
ты в рост отдавал мертвецами пропахшие деньги
и ставил азартно на скупку металла и хлеба.

Как всё это – дико-обвально, неправдоподобно:
ты выел мой мозг и растлил мои лучшие ноты!
Удобно ли в «Мерсе» тебе за бронёю? – Удобно!
Совпали твои и убойного века частоты...
Нет Захера глуше, чем недоуменье обиды,
и Мазоха нету черствей, чем засохшие краски.
И воздух усох, и осыпались кариатиды,
и с кожей маржу чикатилы дерут, дерипаски...

2008

* * *

В весеннем гоне – дыбом холки,
ток белены от кобелей.
Вскипают случек кривотолки –
любовный уксус и елей.
Зимовки сор на выброс выгреб
уборщик, ватные бока.
И углерода сизый выхлоп
из-под гузна грузовика

бьёт в шалые мозги апреля
пятикопеечным вином.
Круги чертя у колыбели,
кирзовый мытарь-управдом
грозит и требует расплаты –
но воздух – колом, синь – винтом!
Но пятна пятницы Пилата –
отмыты праздничным Христом...

2008

СТАРАЯ КОНУРА

Пел ветер – очи с поволокой –
качался в ветках бузины,
и хмель бузинный кособокий
глотал из влажной глубины.
И затопила дни апреля
волной встающая теплынь –
стволы сквозь кожу зеленели,
и вдоль ветвей сочилась синь.

И меж стеклом и ставней дачи
зарделся мотылька фитиль.
А в круге конуры собачьей
роилась солнечная пыль.
Был населён скрипучий ящик,
ледащий, траченный паршой,
бездомной чьей-то, немудрящей,
но вдрызг лучистою душой!

90-е, 2009

КОГДА-ТО В ИЮЛЕ

Когда-то приходили поздравленья
из Питера, Москвы и из Луганска.
Неслись стрижиной стаей дни рождения
над лилией, шахиней шемаханской.
Настурции уродец, Цахес-крошка,
пылал отважно влажной рыжиною,
сияли хромом супница и ложка
над скатертью – прохладой льняною...
Сергей, Владимир-лётчик, Дмитрий, Ольга
подряд рождались в слове Зодиака,
считая с двадцать первого, поскольку
являлся Лев, правопреемник Рака.
Блистал июль, где всякий день отмечен
не дракой, так азартною игрою... –

Сам Юлий Цезарь – вряд ли безупречен,
но год украшен именем героя.
И то черешен в блюдце день приносит,
то с телеграфа – нате поздравленье!
Изящнее, чем кузнецовский носик
кофейника, изгиб июльской лени!
Те дни, когда открытки приходили
из Краматорска, Киева и Львова,
когда бы это было мне по силе,
созвал бы я на летний праздник снова.
Там слышен звон центуриона – голос
по лужам колесящего трамвая.
Там львиный зев и шпажник-гладиолус
четыре дня цветут не уставая.

2000, 2009

* * *

Чтоб в слове это время отстоялось,
весь этот подло-неизбежный век,
я, обречённый прозе человек,
держусь упорно за родную малость –
за право окликания стихов.
На мне ничуть не менее грехов,
чем жёлтых клякс на ваксе саламандры.
Но я не стану петь, обрившись, мантры,
ломать суставы для бенгальских поз.
В широтах наших – всё ж иной мороз
и свой набор целительных настоек.
Нам крепость фраз иная по плечу:
пошлю – так разом душу облегчу!
По матери наш Пересвет и стоек,
хоть не всегда устойчив по отцу...
И что нам при любой чуме к лицу,
так это мягкость черт лица и речи,
июльский запах земляничных губ
славянских жён. Опять, в крови по плечи,
гуляет Русью свойский душегуб –
ордынец, Боголюбский, Джугашвили –
конь судный скачет задом наперёд...

Но озимь над блудилищем взойдёт –
и распашонку вновь мальцу пошили
всё те же руки матери святой.
Скажу: лишь этой кроткой красотой
мы Господу глаза и освежили...
Его сроднили с нами напрямик
Мария-дева, мать, и бабка Анна.
Преданье это – достоверней книг.
И в день Усекновенья Иоанна

пророческой взлохмаченной главы,
среди сентября, в безмолвии травы,
я не смолчу: «Осенняя осанна
вам, матушка моя, жена и дочь!»
А пагуба безбожья – только ночь
с больною, беса тешащей, погодой...
Но смута байстрюков своих пожрёт,
и неразменным воздухом высот, –
набоковской и пушкинской породой, –
день завтрашний не сможет пренебречь.
Мы всё-таки чисты заглавной нотой.
Не мне и не сегодня клясться одой,
но, может быть, об этом – речек речь...

2000, 2009

ЦАРЬ-СНЕГИРЬ

На зубок бы хрустящей зимы –
чарку сини, горбушку мороза!
Вылетай, снегирёк, из тюрьмы –
роза дыма! Рябиновки доза!
Нету музыки – тише, чем снег,
усмиривший пропащую почву.
Снегиря подоспел оберег –
красной маркой на белую почву.

Снежной Библии свеж переплёт.
На медвежьих губах шевелится
зимний лепет про тёплый приплод,
про священных детёнышей лица.
Бритвой стужи обрежу петлю. –
В синий купол взлетит осянно
царь-снегирь!
Не ловлю, а люблю.
Не напрасно люблю – первозванно!

2008



С. Шелковый. Волхование, 1965, чернила, перо.

2

Те, кого ждут



* * *

Пищат птенцы породы воробьиной
в расщелинах краснокирпичных стен.
Июнь пропах дождями и малиной
и вымыл блюда всех телеантенн.
Черпни из разгуляйской чаши брашен
и захмелей от юной красоты!
Взметнулось солнце выше белых башен,
чтоб выплеснуть любовь на все цветы.

Кричат птенцы о хэппи-энде притчи
из келий-трещин кладки вековой.
О времена, поэтовы и птичьи, –
аркады длинных дней над головой!
Ещё чуть-чуть – и станет день короче,
и каплю утра слижет темнота.
Но виршеватель, – паладин воочью, –
к седлу июньской рифмой приторочит
багровый шип с драконьего хвоста.

2007

ПРЯДИЛЬЩИК

В июньском тополе сороки тарахтят,
и в каменном дворе горланят дети.
Никто из них – лишь ты один – в ответе,
мой шелкопряд, за полный звукоряд!
Ты – червь и Бог на тутовом листе.
Узорчатые нити Поднебесной
на ощупь – дух. Не узко и не тесно
снам и снованьям в шёлковой узде.

Похоже, раньше срока не склюёт
тебя Господь голодным птичьим клювом.
Над шелкопрядом и над стеклодувом
защитен родовитых радуг взлёт!
И вот он, рай, – любой случайный звук
вплетается в пряденье совершенства.
И жертвенность уже равна блаженству,
и женственность натягивает лук.

2007

ГОСТЬЯ

От чёрных кур – коричневые яйца,
от сонных крыльев – сумрачные сказы...
На ветках ночи – оторопь скитальца,
в зрачке нетопыря – осколок фразы.
Дошкольник и едок пустого супа,
над рассказами вскидываю брови:
от чёрных кур – кофейные скорлупы,
с двойным желтком, двойною искрой крови...

Вода на киселе, стократ прокислом,
старуха-гостья, плесени золовка,
носищем шевелит, до губ отвислым,
но как ведь врёт да как дурачит ловко!
На ужин напросясь, жуя, бормочет
про кума, что от ломтя в горле помер,
а в кукиши скукоженные очи
какой-то свой прикидывают номер.

От чёрных кур – серебряные яйца,
с налётом чая, как на старой ложке.
В Кощеевой клешне царевны пальцы,
а страхи разом – истинны и ложны.
Страдай, вещунья, чернобайствуй снова! –
Вокруг меня сбредись, совсем живые,
собаки, черепахи и коровы –
все звери, шерстяные, роговые.

Все гербовые твари, родовые
стоят и дышат розовою пастью –
и заслоняют от Яги, от Вия,
от нежити, от выроodka во власти...
Стогами пахнет, зверем и макухой.

От чёрных кур мой сон до жути ярок. —
Всего-то забрела на час старуха,
пяток яиц оставила в подарок...

2008

* * *

Вот книжек дюжина. —
Достал ты ближних-дальних
маркёров, прокуроров самопальных
числом своих прижизненных томов.
Здесь — пища для прозекторских умов...
Да вот, хоть «стыдно» пой, хоть «хорошо»,
хоть пальцем пригрозил себе «ужо!» —
сквозь притчу о козлах, ягнятах, козах —
а вновь просторен для дыхания воздух,
как Пасифик для крейсерского рейда!
И пусть тебе шнурок, питомец Фрейда,
на рок-н-ролл и на скелет похожий,
в железных цацках и с нечистой кожей,
не буркнет «здрасьте»... Экая печаль!
Который век скрипит про то скрижаль,
как Хам бесчестит Ноя-аксакала...
Пускай! Зато ясней канон Ля Скала,
сказать бы, крепче-ласковее скалы,
и сам ты звонче кликнешь осень: «Осип!»

А к слякоти «Иосиф» просипишь...
Не жду ни масла на казённый шиш,
ни в мышеловке сыра, ни на ветке.
Твоих секунд царапины-заметки,
узорчатый и беспощадный век,
в случайность зыбких строчек я облек,
в обложки не моих, как будто, книжек...
Кто гонит ток? За что мне вольт излишек?
Зачем под солнцем в понедельник-день
вовсю искрится безнадёга-хрень?
Откуда дежа вю: «Нет, весь не сгину?»
Уже не время всласть грести малину,

витийствовать, тянуть кота за хвост,
мешать в живое чувство дёготь-ГОСТ.
Уже финита брезжит – в полный рост,
с ногами от ушей и с поясницей,
что феминой сияет, словно снится
последний дюйм... К нулю стремится смета,
листок веселья жухнет, сохнет лето.

И, выкупив на шоу все билеты,
мэн – с пирсингом, с орехом в голове –
без комплексов, кроссовкой наступает
на тень правдоискателя в пыли...
Но правда есть! Все жлобские рубли –
державные – на крошево для плошек
алкашке, что у церкви кормит кошек,
отдай за так! И пусть отчизны кущи
желты и пылью взор её покрыт,
но ты, её разломами идущий
упрямец, иноходец-индивид,
ты, утренний всех глин её Гагарин,
на то и жив, чтоб длился, лучезарен,
Казанской Богородицы формат –
прощения и милосердья взгляд...
Так в путь – с утра и без скафандра – к вящей
гармонии вдоль хаоса летящий
хранитель писем и верстальщик книг!
В путь, конник бездорожья, конунг, кинг!

2008

НОЧЬ В ФЕОДОСИИ

Дозревает лоза во дворе на холме Карантин.
Итальянского угля-зубца не предаст цитадель.
Золотятся и тают наплывы закатных картин,
и по жилам кружит и пружинит пожизненный хмель.
Хорошо мне во тьме ничего для себя не хотеть,
доверяясь нездешнему пульсу полночных минут.
Там, где гавань с холмом океану сосватали твердь,
растворяются в вечности зыбкие «ныне» и «тут»...

И уместится в верности тысяча жалких измен,
и звездою уколет – меж датами жизни дефис.
Тени гроздьев исчёркали мел голубеющих стен,
и вдоль глин Карантина хромают репейники вниз.
Хорошо мне с хозяйкою лоз полчаса разделить.
Не беда, что не пьёт, не глотнёт ни слезы «Пино-гри».
Столь полна эта тишь, что пуста говорения прыть.
Я и сам не сболтну, вот и ты промолчи, мон шерри!

Я числом не совру, разве нотой пугну петуха.
Недозрею ягодой поздний стакан закушу.
Оттого моя повесть о жизни – не то чтоб плоха,
но всё сносится мутью теченья ко лжедележу.
У подножья холма лижет синюю глину волна.
Деревянные рыбы баркасов увязли в песке.
Ну, а здесь, наверху, над репьями парит тишина.
И под ногтем заноза ни мне, ни тебе не слышна,
и зубец цитадели не пискнет у ночи в виске...

2008

ЕВПАТОРИЯ

Гёзлёв, ещё один Кучук-Стамбул
на греческих камнях Киркеникиды.
Вдоль променада – маяковский гул
и ленинской туфты кариатиды.
Под бронзой кепки санаторных дней
зудят банкрота-изваянья рожки.
Но в пику обветшанию камней
и шелушенью известковой крошки

Гёзлёв-ата, пергаментный старик,
за глинобитным временем заборов
сгущает некий крепнувший язык
для арабесок и переговоров.
Аллах велит – взирать издалека
на женщину змеино-расписную...
Но звать насущным хлеб ракушняка,
но рукопись лелеять одесную!

Алла акбар! – кивну нукеру-дню,
не умаляя таинства крещенья.
И в замшу губ ордынскому коню
вложу хабарь пшеничного печенья,
которое из Харькова в Гёзлёв
привёз торгаш, что, будто ксерокс, скучен...
Но звонок бисер рукописных слов.
Но более, чем звонок, – дальнозвучен!

2008

* * *

Е.

Окунается окунь в чернила заката-лимана.
Окунается с радостным плеском, срываясь с крючка.
От турбазы доносится песнь о гульбе атамана.
Песня тоже пьяна – хоть проверь, хоть поверь с кондачка.
Вот вернусь в халабуду – и сам прихлебну из бутылки,
ибо крови моей отсосало стакан комарьё.
Засолю окуньков и развешу на леске, на жилке,
чтобы зря не пропало рыбацкое счастье моё.

Ох, и темень же здесь, на азовском вечернем заливе!
Называется «Лотос» турбаза. Атос и Портос
из растрёпанной книжки глядят. И в едином порыве
комариная свора решает свой шкурный вопрос.
А с утра хорошо! По песку разогретого лета
с шестилетнею дочкой идём босиком на канал.
Караси-кругляши в золотые чешуи одеты.
Ну, тащи его, милая! Вот он – в траве засверкал!

2006

ДАВАЙ ЛЕТАТЬ

M.

И мыши в тёплой тьме летают. И спозаранку дирижабли
 парят, плавучие, как рыбы, серебряные, как кефаль.
 Рождённый ползать множит шоу, рекламные моноспектакли.
 Но есть и свежие идеи, как, например, Лилиенталь!

И мы, дружок мой, летним утром дуэтом стансы сочиняя,
коснёмся взором-следопытом тех отдалённых островов,
где на холмах уже созрела оранжевая чашка чая,
где вождь, в тяжёлых ожерельях, сразиться с духами готов.

Десятком слов по-португальски блеснуть с утра вполне
 мне, кто в когорте Магеллана сражался, и хлебал вино.
 На всех углах галдит торговля, но вижу я – на почве
 биплан движком уже стрекочет, как чёрно-белое кино.

И стрекоза Либиенталя – пилот в очках и шлемофоне –
трещит, подобно мотоциклу, подпрыгивая над травой.
А за синкопами движения на подлинном июльском фоне
и ты, кузнечик мой, мужаешь, и я, с тобой, – ещё живой...

Давай взлетать, десятилетний, мой ясенёк, дружок,
тутовник,
первейший мой средь чад Господних и махаон, и
Магеллан!
Бью о тебе челом – кто слышит? Молчит, не телится
коровник.
До судных сфер не долетает фанерный мой аэроплан...

ЗАПИСКА ИЗ ТРИРА

То Крым мелькнёт, то Ромул-душегуб,
братоубивец волчьего разлива...
Прохлада склянки чуть коснётся губ
отрадой винограда, сладью сливы,
смородиной, кровинушкой родной,
анисовой душицей алкоголя,
и вновь плывёшь с невнятной виной –
по волнам-гребешкам, барашкам воли,

по весям, тарабарским городам,
по сломам, тектоническим и смутным,
полкрошки, полглотка то здесь, то там
подхватывая в пиршестве попутном...
Но трезвый привкус вьелся в камни стен
на мозельвейне вздыбленного Трира.
Как прежде, Рим и Крым, цари измен,
очерчивают сердце карты мира,

но здесь, на римском Мозеле, встаёт
громада верноподданного счастья.
Две тыщи лет гудит собора рот
о высях и глубинах папской власти.
И тот же тон плывёт от хвойных уст,
от ельника летит, от краснолесья. –
Узорчатый неопалимый куст,
стратегий и смирений равновесье,

звучит – кому о чём, тебе ж – о том,
как ты зачат случайностью гриппозной,
каким продажным вышвырнут судом –
хромать на Харьков, на Ростов, на Грозный...

Кому о чём сей гул, а нам – о днях
без патриарха, без отца, без брата,
где правда вора вязнет на зубах,
где зло с утра и до упора – свято...

2007

* * *

Анжело Литрико, мой итальянский друг,
столь точно мечен русскою фамильей,
что чарка тотчас чертит полный круг
воздушный над Романою-Эмильей!
Анжело Литрико, единомудец мой,
иглы и нити вдохновенный мастер,
одел мой торс в прикид передовой –
лихой, как галактический блокбастер.

Любезный Литрико! Рубаху из полос
цветов твоих – куда уже цветнее! –
клянусь, я и доднесь не перерос
и верен близким отношениям с нею.
И то, мой ангельский! – Ну где б я отыскал
соратника по колеру, по вере
в лоскутный пир коралловый, в кристалл –
магический, в ямбическом размере?

Давай, художник мой, продолжим этот драйв –
сравненье наших родственных гармоний!
Звучит «ти амо» ловче, чем «ай лав»,
здесь на холмистом ренессансном лоне.
И фра Анжелико я вспомнить захочу,
поскольку сходство двух имён – глубинно.
Мой Литрико! Нам мифы по плечу
не те, что порчу кутают в парчу... –
Простые, но с кроващей сердцевиной!

2008

К ОДЕССЕ

Таки «тик-так» стрекочут стрелки. Молдаванка
о Константине-моряке бессмертный шлягер
с трудом допев, ложится на бок. Пьянка – пьянкой,
а завтра снова – честный труд и шахер-махер.
«Язык Петrarки, переплеск солёно-сладкий» –
когда-то брат мой итальянской речью грезил.
А говор тутошний, с коммерческой повадкой,
приперчен скрипочкой и от природы весел.
Как по душе мне – Вавилона гул бывалый,
«Привоз» рыбацкий, Средиземноморья нравы!
И ты, Одесса, лишь любя меня кидала –
разок налево и разок-чуток направо.
Да будь я даже чернокожим внуком негра
иль закопчённым, с броненосца, кочегаром,

и то бы белое надел – сыграть аллегро
тебе, Одесса, в ре мажоре и задаром!
Возьми мой танковый завод, акаций полис!
Возьми Холодную, с большой тюрьмой, гору!
А я, пиита с корбюраторщиком помесь,
утешусь мирром черноморского кагора.
Уже всё есть для встречи, большего не надо:
салат по-гречески и льдистый кухоль пива.
И Пушкин-памятник, вдоль стрелки променада
с колонны цоколя глядящий терпеливо...
Есть таки факт, что нету города иного,
где б столько песен оживало у причала,
где б «Одиссею» продлевающее слово
Улисса яркостью улик переиграло!

2008

ТРАМВАЙ В АРКАДИЮ

Море индиго, белейший песок. —
Будто бы райская птица в висок
клюнула, будто бы впрыснули в кровь
майского утра глюкозу и новь.
В здешней Аркадии и Одиссей,
и победитель Горгоны Персей
могут аукнуться между колонн —
среди реквизита кафе «Парфенон».
Кажется, здесь я намедни гульнул,
помнится, жарился стейк из акул,

медленно плыл я сквозь дуги аркад,
сквозь гармонический видеоряд...
А на рассвете Французский бульвар
к морю стекает под чаек базар.
Тычутся в окна, в трамвайный вагон,
свечки соцветий с обеих сторон.
Ветки каштанов ласкают маршрут —
те, кого ждут, по пути не умрут!
Синька у ног и пшеничный песок,
а в небесах — золотник-образок...

2008

ГРОЗА НАД МЫСОМ ПЛАКА

Над морем – громы.
Сабли молний
распарывают небеса.
Вселенский взрыв-разбег исконней,
когда в ночи бузит гроза,

когда стенает доктор Фауст
о кознях пуделя, о том,
что ветер-гнев и ливень-ярость
крушат, в двойном крещендо, дом.

Всю ночь проруха огневая
хохочет, козырь штормовой
на берег с вызовом швыряя,
парик с алхимика срывая –
с джек-потом, с колбой-головой!

2007

КОКТЕБЕЛЬ, 1992 г.

Подлунный лён и подлинные свитки
давно не окликаемых стихов.
Но кто-то прочитал. Промок до нитки.
Набухли деревянные калитки.
Вослед дождю спиральные улитки
легки во отпущение грехов.

Молочные скорлупы виноградниц,
пугливые кисельные рога...
О, перламутры коктебельских страниц!
Селение разгулом урок-пьяниц
гремит, и, как накуранный афганец,
«бар-бар» бормочут эти берега.

А полночь – истошны вопли: или
хребет сломали, душу загубили,
или всего-то упились презло...
Сон не идёт, и съёжились цикады.
Двуногое хрипит и блеет стадо
до той поры, пока не рассвело...

Но мирным утром клин травы исчерчен
улитками. Кефали косяком
обходят мол, чей абрис чуть увечен.
И бурым йодом свежий бриз наперчен,
и мальчик, тонкоплеч и безупречен,
спираль рисует ревностным мелком.

2000, 2009

НАПУТСТВИЕ

Эта дружина стрижей полнозвучного лета, —
смело-размашистых дуг перезвон-перелёт, —
необратимой утратой давнего света,
нежностью гибельной снова за сердце берёт.
Спринтер щербатой дорожки, мечтатель-тинейджер
то в обертоне звучал, то почти на нуле...
Но не без умысла, прямостоящий Диспетчер,
грифелем Ты процарапал мне след по земле.

И не без замысла, пристальный мой Рисовальщик,
детской отваге доверил Ты карандаши.
«Авель, — позвал Ты тогда, — неприкаянный мальчик,
быть тебе пленником нашей с тобою души!
Быть тебе впредь должником, до предельного срока, —
мыслящих губ, по любви поцелованных уст...»
Жёлтый кобель вдоль стены ковылял кривобоко,
в воздухе сумерек, цвета лимонного сока,
белой часовней светился шиповника куст.

2008

21 ИЮЛЯ 2008 г.

День Александра Великого, день Македонца?
Шутка ли? Хоть бы по дружбе аттический стих
о 21-ом шепнул мне, ведь проливни солнца,
шпажника плески не жаль мне делить на двоих!
Гладиус-меч пересилит цветок-гладиолус. –
Двойственный смысл по кольцу, по восьмёрке течёт.
С гривы царя не ссечётся без Зевса и волос.
Коршун небесный победную песню речёт.
Так и себя я борьбе без остатка вверяю.
Где моя Индия, ратные трубы слонов?

Только и жизни в году – от тинейджера-мая
до Шарукани июля, до шарканья снов.
Только и песен с вином – что до бабьего лета...
Где моя Сирия, Сирин на сизом крыле?
В рюмке предзимней – остатки любви и привета,
и ни пол-лапки синичьей не мёрзлой земле...
Троица карт, Александр! – Наши даты совпали.
Двадцать три века меж нами – «ау» повитух.
Важно – посмертную пыль отряхнуть от сандалий.
Счёту ещё научиться бы. – Честно, до двух.

2008

* * *

С достоинством простым, без громких плачей,
душа моя, мы срок свой проживём,
нам выпавший. Но грех – назвать удачей
тот прятко-беспородный хлам и лом,
что хлынул на империи задворки
и, знамо дело, в Генеральный штаб
её же, где все жалюзи и шторы
скрывают комы истинный масштаб.
Секретной картой бродит с когтем палец,
и маршальский мундштук грызут усы.
Залёг народ, заложник и страдалец,
по насыпям невиданной красы.

Жаль, что проснётся – и пальнёт в кого-то
да водкою зальёт рутинный грех...
Темна, сестра-душа, твоя забота –
за Каина, за окаянство вех
болеть без звука... И терпеть без срока
косматый неприкаянный геном.
Держава снов, раскинувшись широко,
растит во чреве мифы о былом...
Но мил мне местный житель вольных правил,
хрустящий ямбом яблок эфиоп!
Какую песню, на века, оставил –
про ум Балды, про Толоконный лоб!

2007

* * *

И вот теперь – за каждый час спасибо!
Взысканье-иск, чем я и прежде жил,
смиряться с хронологией ушиба,
утроило сегодня ставки, ибо
умножилось на вычитанье сил.
Как сложится... Уже не обещаю,
что объявлюсь и завтра, как вчера,
заварщиком фасованного чаю...
Щенок резвился в гуще молочая,
июлем счастлив с самого утра.

То был почти не я, поскольку время,
скорей чернявка-сука, чем Дружок,
разлаялось со мной по полной схеме:
развезало по ветру мака семя,
подсолнуха подгрызло корешок.
А всё-таки, – и без цветов, – спасибо
за эти, смутой меченные, дни
дефолтов, аритмий, казённой дыбы,
за всяк искус змеиного пошиба,
которому ответил: «Извини...»

Возьми своё, вялотекущий Хронос!
За оболочку стёртую мою
какой тебе в аду обещан бонус?
Но дух мой облетит сатирикonus
по небу, под которым я стою.
Молюсь под синим, под бесцветным – каюсь.
Алеют маки, зеленеют мхи.
Нет, не меня, Отец, но чадо-завязь
помилуй – почвы ног Твоих касаюсь –
прости за сорока колен грехи...

2008

* * *

Вновь подступает средь ночи зима,
белым ложится на чёрную землю.
Равною мерой, что будет, приемлю –
посох ли посуху, сумма ль – сума.

В мокрую глину, в ноябрьскую стынь
падают конники и пехотинцы.
Мёртвых венков – ярко-дики гостинцы.
Я бы хотел к изголовью – полынь.

Я бы просил на помин принести
ветку полынную, пряно-седую.
Снова вдохну – и почти не тоскую.
Словно не жизнь проиграл я вчистую,
словно заснул на минуту в пути...

90-е, 2008

* * *

Водчонку ласкал, «Изабеллу», а также «Мерло».
Как много, однако, сомнительных ингредиентов
на скорбную карму, на кроткую печень легло...
С другой стороны, много вспомнишь ли в жизни
моментов?

Бог Нахтигаль редко влетает в удушливый быт,
в холерный барак коммунального правопорядка.
А, если влетит, сам по-русски себя материт
с немецким акцентом и плачет солдатской украдкой.

Где Гансу – капут, там Ивану – щелчок не всерьёз,
там дверью театра абсурда примят Ионеско.
Нет смертней тоски, чем сия, нет фатальнее слёз.
Вот, чёрная с серым, с размахом до полюса, фреска!
Воруют и грабят. Всевластвует сброд торгашей,
банкиров-вампинов и киллеров с нищих околиц.
И, что за фату Марь Иванне, невесте, не сшей,
стреляйся на свадьбе, жених, добролюб-доброволец...

2008

ИНЕТ

Внизу столовка, где то свадьба, то поминки,
а вверх по лестнице – контора с интернетом.
Двумя пролётами взберёшься под сурдинку,
с осколком в рёбрах, и с блокнотом-амулетом.
В упор стреляя, по ошибке не добили.
Долбишь по клавишам, – с прорехой в перикарде, –
почти не помня ни про Ирода в мобиле,
ни про злодейство вкупе с гением – в чип-карте...

Чадит харчевня в арендованной общаге
на штрассе Пушкина, на улице Немецкой.
Густеет вечер, тяжелеет снег в овраге,
и дремлет Муромец в былине молодецкой.
Но вверх по лестнице – фонарик интернета,
где вновь не глядя набираешь имя сайта.
То фон-шипение, то вдруг: в тепле ответа –
живой янтарь, родной зрачок овчарки Найды!

2008

* * *

Калашник, Стечкин и Емеля с печки
готовы в темноту с двух рук палить.
Но малчик-с-пальчик к захудалой речке
опять приходит – «уточек кормить!»
Он дёргает за край одежды маму,
которой чуть побольше двадцати...
Безумец-ум гнетёт кардиограмму
и хочет напрочь душу извести.

Но мы с тобой останемся при детских,
при утренних пристрастиях своих,
при всех сердечных наших цацках-печках,
пока небесный стих совсем не стих.
Пока не подвезли сполна патроны
не помнящему страха «калашу»,
по серой речке селезень зелёный –
живою тварью, радугой исконной –
плывёт, искрясь, навстречу мальчишу...

2009

ЗАМЕТКИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ

1.

О, стеллажи из книг вдоль стен квартиры,
заполонённой холодом пространства,
огромной, перешедшей по наследству
к точильщику пера и летописцу
от пассажиров коммунальной лодки,
заложников казённого ночлега –
от прежних обитателей ковчега,
ушедших друг за другом в лучший мир, –
от душ, неусмирённых и доныне,
витающих туманом по углам...

За храм бумажный я немного дам,
за хлам, великозвучный и блаженный,
хоть и потратил на него полжизни,
а то и больше – это, как считать...

Дурная бесконечность книжных полок. –
Кто в с ё читал! Как можно в с ё читать?
Вот, верно, посмеялся бы Конфуций,
сконфузившись во весь огромный рост.

Но мой стеллаж, как ни был бы он прост,
по факту – мудреца Кун Цзы повыше.

Три метра вертикали ДСП,
оклеенной охристо-светлой плёнкой –
с намёком на орех или на клён,
с аллюзией на древесину бука...

Любовь слепа, опять глядит: а, ну-ка,
что там на сотне скопидомских полок?
Верней – не ошибёшься! – на двухстах
подсвечниках часовни катакомбной,
пропаще-бескорыстной, гибло-честной,
навек чуждой – модам и тусне?..

Что изнутри нас держит, что из вне?
По-прежнему ли в лампах фолиантов
шуршат намёки-мотыльки Вселенной?
Что под вуалью пыли суверенной
хранит фигурок-амулетов спам?
Полвека отдал я, и вновь отдам
за то, что вряд ли буквами опишешь... –

2.

Фарфоровый медведь, с московских игрищ
на память привезённый Миша-Вася,
сплошь олимпийской – в Дулево! – глазурью
облит – от толстых пяток до ушей,
и пятикратно окольцован прытким
месье бароном Пьером Кубертенем,
чтоб золотистый сувенирный пояс
на чреве, добродушном и всеядном,
защёлкнулся на звонких пять колец...
Медведь-Иван – дурак, ан молодец!
И что за имя славное мелькнуло
на дне – цена: четыре рэ – медвежьем!
Дулёво или Дулево – неважно,
не в ударении плавающем дело,
но в кукише священном – шишкин шиш! –
но в том, что явным признаком фамильным,
родным припевом «Дулево-Дулёво»,
сыны великодульского народа,
давно по праву мы назвать должны
свою одну шестую пайку суши,
помноженную на чумные сны,
на явь-холерой сгубленные души...

3.

А если в отпеванье мало толку,
об этом знает, страж соседней полки,
другой фольклорный родич, братец-волк –
уральской тонко-каслинской отливки...
Молчит, лишь пьёт зрачками спелый диск
луны, зависшей над пейзажем снежным
простецкой трёхкопеечной открытки...
Картинку, впрочем, лихо пересёк
доподлинный автограф космонавта,
размашистый, вдоль всей диагонали,
что в оны годы авиатор Волков
мне раздобыл проездом через Звёздный
как редкий, но небескорыстный, дар –
в ответ на щедрость пересадки мозга
от моего стола к столу майора,
искателя полковничьих погон...
О, времена защиты диссертаций
в трескуче-ледяном пространстве войн!
А вот и фотоснимок из журнала,
где астронавты-янки в лунном море
на «ровере» печатают узоры,
мешая спать пришельцам с Андромеды
и Келдышам всех ящиков секретных...
Но вы, служаки истуканов медных,
сержанты караула – левой, правой! –
как смели загубить вы Королёва,
бинтом заклеить полководца рот?!
Ведь он, из гиблых вырвавшись мерзлот,
смел разбудить божественною плетью
ваш окаянный обречённый быт!
Он камень сдвинул, что весь век лежит
на пыльной восьмиклинке перекрёстка...
А вы его, прогульщики-подростки,

целители со ржавыми серпами,
латали – пятьдесят на пятьдесят...

4.

Однако, не пристало ли, медбрат,
сменить мне «вы» на «мы» в последней фразе?
И я ведь на болоте, в профсоюзе,
болиголовом цвёл и тину пил,
и лепту земноводную платил,
помпейского призыва комсомолец...
Что и спасло? – Кураж сквозных околиц
и неэвклидова генома честь.
В любом раскладе хромосома есть,
свой икс иль игрек, некой искры малость,
способная влиять на суть большого.
Вот здесь, над золоченьем Льва Толстого,
виниловый, в конверте жухлом, диск
стальной иглы, как дозы, ожидает,
чтоб, с белой грудью и во фрачной паре,
опять взыграл своеутробным басом
чалдон могучий, Штоколов Бориска, –
да так, как будто на вокальном горле
сжимает пальцы пресловутый рок,
который, дело ясное, жесток,
особо же – в очерченных широтах...
Во временных волнах, круговоротах
все голоса стираются, старея,
быть может, кроме альта Амадея.
Добавить ли Карузо в этот ряд,
Орфея и Лучано из Модены?
Как ставленникам неба, а не сцены,
двум итальянцам я – признаюсь – рад!
Орфея же – не слышал, врать не буду.

5.

О хлама храм, сей сонник, взятый в ссуду!
Стихов простенок, словарей стена,
бумажный мост меж небылью и былью,
листы, тетрадки, сшивки, письма...
Устали бронхи кашлять книжной пылью,
и здешней молью съедено пальто
вслед рыжему треуху из ондатры. –
Но этот всхлип нервический – ничто!
А сорока веков псалмы и мантры
и прислонённый к Ясперсу Платон –
вот неба переплеск и перезвон
над вязкою, косноязычной почвой!
Я в этой школе музыки – заочно,
мякинный переросток Филиппок,
за что мне будет белка и свисток,
а на орехи – так уж это точно!
Ещё – на россыпь милой чепухи,
ещё разок взгляну: за всякой дверцей,
попутчики скитальческого сердца,
вблизи подножий книжных переплётów,
чуть вздрагивают символы предметов,
добытые за тридевять земель:
то щепка судна, севшего на мель,
то раковина, то фрагмент сосуда –
ещё глоток Эона, капля чуда –
то голубень кораллов филиппинских,
а то обломка бронзы дребедень...
Встаёт большой и полноцветный день!
И эти снимки лиц, родных и присных,
парят в таких же разноцветных снах –
свидетельства о лучших временах,
оконца дня, молитвы в обрамленье...
Есть право – выжить в кораблекрушенье!

«И впрямь за всем, за этим, дышит план,
невнятный и простой, как океан:
за вдохом вдох, за валом вал — движенье».

2007

* * *

Горлица, – в расцветке капуччино,
с йотой шоколадного тепла, –
за стеклом гулит. И есть причина
улыбнуться – флора расцвела!
В тон апрелю фауна плодится,
на карнизе сизые блудят
горожане, мусорщики-птицы
мусорных клепают голубят.

Множатся менты и мафиози,
и редет рифменный народ –
падает, согласно здешней прозе,
вниз лицом, как маслом бутерброд.
Всё же нас останется немного –
ровно столько, чтобы у Отца
горлицы-глаголицы, у Бога,
вопреки студёности итога,
тёплая слеза сползла с лица...

2009



С. Шелковый. Магриб, 1965, чернила, перо.

3

Кленовые цветы



* * *

Апрельский воздух клёны овеивает,
и сыплются зелёные цветы.
И у порога Божьей Пасхи тают
постыдные завалы нищеты.
Очнулась паства, подметая город,
и высветились облики церквей.
А на футбольном поле ярый форвард
у переносья свёл бугры бровей.

И некто мне опять по телефону
цитирует из книжицы слова.
Поверю ли слабеющему звону,
преданью, что поэзия жива?
Что б ни было, но трудному апрелю,
со стужами, с болезнями детей, —
конец. И по воздушной тяге хмеля
пойму, что с тёплым ветром еле-еле
кленовый цвет сыпается с ветвей...

2008

* * *

П.И. и М.Р. Шелковым

Это чьим разогретым вином
в цветнике назюзюкался гном —
львиный Карла, зевающий Чарльз,
ярко-рыжий, как бархатец-барс?
Гравитацией, честным судом
львиный замысел к смыслу ведом —
вдоль Ефрата, Донца, Дар-Дарьи...
Жилу русла и мне отвори!
Отвори, чтоб могла ещё течь
и сверкать краснопёрками речь,

чтоб вплывали в её камыши
Рем и Ромул, цари-голыши, —
золотистой корзинкой хлебов,
ранней спелостью яблочных лбов...
Помнишь, хоббиты, люди вершков,
налепили, набили горшков?
Но, не склеив числа из частей,
не оставили писем-вестей...
Помнишь, двое смеются в саду,
оба живы, в просторном году?

И петунии рифмуют стишок,
чтобы мальчик подрос на вершок...
Помнишь? Стоит ли помнить про то,
как бугрится навырост пальто,
как фальшивое жалит число
и zero усмехается зло?
Я на семь по привычке делюсь,
не цепляясь за минус и плюс.

Ибо тот, кто нагребил частей,
носом ткнётся в закон новостей,

что исходное мира ядро –
бесконечно мало, как зеро...
Львиным зевом зевает июль,
на дорожку выносят *дер шуль*,
чтоб артикли учить, падежи –
тет-а-тет, как большие мужи...
И чтоб отрок, сквозь, аккумулятив,
в сердце принял чуть слышный мотив,
шёпот крови, прасодию-суть:
«Не забудь и меня, не забудь...»

2007

* * *

Рыжий кот и пара воробышек
населяют жаркий майский дворик.
Ярок полдень, как Марина Мнишек.
Одуванчик сник. И сухо-горек
чистотел, пучок ничейных веток.
За три дня сирень отгомонила.
Вялый «чик-чирик» старух-соседок
теплится на четверть птичьей силы.

Сонны дровяных домов кварталы,
без плодов отцветшие задворки.
В зное, цвета жёлтого металла, —
дух микстуры и лимонной корки.
Синий пузырёк с настойкой смерти
скатертью скользит крохмально-чистой.
Жаль кота. Линялых строк в конверте,
промелькнувшей майской круговерти,
рванной книжки с графом Монте-Кристо...

2007

НА АЗОВЕ

Вплетайся, лыко, в праздничную ткань!
Не пропадать ведь жизни понапрасну...
Манит волной, дарит Тмутаракань
напутствие рыбацьему соблазну.
Хрустя ракушкой жаркой, на Азов
прийти и с леской стать на край бетона.
И в отроческий незабвенный лов
вернуться вновь, запальчиво-влюблённо.

Туда, туда, где увалень-бычок,
лобастый, как Сократ, сакральный предок,
хватает жадной пастью твой крючок,
наживку нежно-розовых креветок,
где ты, уже красней, чем ирокез,
спешишь с куканом грузною походкой,
где спёк тебя на злате полдня бес,
а мать гремит чугунной сковородкой

и в постном масле жарит свежину –
на тесной кухне в съёмной халабуде...
О, крошку плавника бы, хоть одну –
да снова на язык! Нет, не усну –
и соль волны, и мёд стряпни вдохну,
и весь тот день, свидетельство о чуде!

2007

* * *

Л.С.

Умная, в умных очках, не спеши на свиданье,
ибо тебя подождут, несмеяна-красава!
Чьи за лопатками шелесты? Чьё спецзаданье
вспышкой-пунктиром сигналист: «Левей и направо»?..
«Как они все – говоришь ты – меня ненавидят!»
«Как они все...» – откликаюсь и я ненарочно.
Чувствуют нечто, но в фокусе явно не видят,
вот и сбиваются в стаю – и душно, и тошно...

Взрослая, с детским зрачком, не спеши через ливень.
В слове диоптрий – гончар и чеканщик Востока.
Стихнет стихия. И родственный радуге пивень
снова с утра загорланит надсадно-высоко.
Даром, что встречные льются, подспудные ноты:
глиняный Голем холмов, инфразвук inferнальный...
«Чьи они?» – спросишь. Да свойские – из Кариота
люди, из Харькова, Курска, Гусыни Хрустальной.

Даром невнятное торжище-столпотворенье
в полдень базарный по выслуге лет нам досталось!
Столпники лапти сплели. И лишь в стихотворенье
двое иль трое – с рекою во взоре – остались.
Кладбища Лысой Горы и прилавки Благбаза,
стало быть, в долгий контекст уместить остаётся –
с краткой ремаркою: не застрелиться ни разу,
не ухватиться рукой за искрящую фазу...
Дар ледниковый глотнув из раскола колодца...

2007

ПРОЛИВ КАТТЕГАТ

Зимний ливень, сплошной, беспросветный,
хлещет, словно пришёл навсегда.
Ёрник-Йорик и Гамлет мой бледный,
время – очень большая вода!
Время водоворотом свернётся
в штопор-кукиш и тут же – в цветок.
Или в парус дыханьем толкнётся,
чтоб челнок ободрить на чуток.

И пройду в декабре по проливу,
где на скалах молчит Эльсинор,
где датчанин на шведа бодливо
век за веком взирает в упор.
О, как страстна волна ледяная
в этих холоднооких местах!
Шёл я, зимние воды сминая,
с благодарным теплом на устах.

До сих пор на губах моих оклик
меланхолии той не угас –
грустный Гамлет, усмешливый Йорик,
со свиданием, стало быть, нас!
С повстречаньем, разбойные воды,
бодрый гребень варяжской волны!
Деды-Одины, внуки природы,
бычьи шапки со звоном казны!

Предрожденственный ангел в каюте
копенгагенского корабля
лепетал, золотясь, об уюте,
но в снегах островная земля
за свинцовым проливом белела.

В серый день – лишь на йоту светло,
но двурогий варяг споро-смело
надвигал крутогрудое тело
там, в тумане времён, на весло...

2009

ПОСАДКА НА ОСТРОВ

Ду ю спик ли инглиш? – С одышкой дую,
что-то ветра в холстине-парусе мало.
Приласкал бы Англию, моль седую,
да вино в баклажке шалить устало.
Ду ю спик ли рашен? – О йес, дурашен!
С этим я родился и сгину с тем же.
Ветер сносит крыши с домов без башен
и, швырнув до Темзы, уносит в Тежу.

Бормочу своё языком древесным,
то крушинным словом, а то кленовым.
А боднусь ли с дубом – неинтересно
ни с плотвой-уклейкой, ни с вялым клёвом.
Языком дворняжьим лизну, шершавым,
свеже-красной марки липучку-спинку
и письмо со словом, с любовью-«лавом»,
отослав на остров, пуцу пластинку,

где хитрюга Леннон и жук Маккартни
о герлах стенают настолько страстно,
что любому ясно: склоняясь к карте,
держит руль Британия самовластно!
Три часа – до Темзы по небу в итоге.
Проблеснёт на спуске речная дельта,
потемнеют поздних лугов чертоги,
вспыхнут белым в сумраке единороги –
скакуны с зелёною кровью кельта...

2008

ГУРЗУФ ЗИМОЙ

В пять часов – ни души, ни бродячей собаки
в темноте тридцать первого декабря.
Ясно-зимний Гурзуф чуть звенит во мраке,
золотые глазища за так даря.

В каждой лавке кусок – кусает однако. –
Шкуру с позднего путника всласть дерут.
Лишь зрачок огня во вселенстве мрака –
и цветок на грудь, и значок за труд.

В зимнем воздухе угольный выдох дыма. –
Так полвека назад из белёной печи,
от забот твоих, милая, неопалимо
обещали румянцем цвести калачи.

Сквозь пространство и запах приходит, и привкус –
полнотой возвращенья утрат щемит.
Ясно-зимний Гурзуф – самоцвет на вынос,
самопал, воссиявший от искры быт...

2009

СЛОВО О ПЛОДАХ

Жёлтые плоды, шары маклюры
в юно-зимнем воздухе парят.
Над Гурзуфом – вздох колоратуры:
третье января и снегопад.
Два священных дерева ацтека
на отвесной выжили скале.
Кукулькан приподнимает веко:
в руку сон – про бунт на корабле...

Так и ты, к твердыни Генуэзской,
к вертикали камня, над волной
прилепясь, блестя над бухтой-фреской
объектива цацкою цветной.
Окликая херувимов хоры,
ветви гнёт обильный снегопад.
Золотых тутовников мажоры,
опадая, на уступах спят.

Спелых сфер узорчатое тело –
амулет шагреня и парчи.
Или – теннисистка Габриэлла,
рассмеясь, рассыпала мячи...
Над посёлком типа городского,
«эм» на «цэ-квадрат», сейчас и здесь,
умножая, оживает слово –
эмбрион сгущенья золотого,
сверху вниз вещественная весть.

2009

* * *

Мандарином повеял сочельник,
снегопадом, смолою сосновой.
Освежи свой подрамник, скудельник,
белотканной хрустящей обновой.
Замело на окраине хаты,
заискрились морозом овчины.
Славно жить – до последней растраты –
в синем колере Духа и Сына!

Простодушны, как буки и вежи,
а внутри – снегирёвого цвета,
декабри, где лоснятся медведи,
калачами свернувшись до лета.
Ну а ты, мой художник колючий,
на холстине колдуя-пророча,
возжигашь и вежи, и кручи
за пространствами вьюжистой ночи.

Разминая стоцветное масло,
полночь шаркает бабкою Кристи,
и покуда свеча не погасла,
скачут рыжими белками кисти,
мышь шуршит серебристой фольгой,
с четверга – домового невеста...
Снег раздался ямскою дугою
по всем весям – от оста до веста!

2007

* * *

От души хрустит предзимье злым ледком,
пахнет стужа роттердамским табаком.
И «Летучего голландца» паруса
брезжут солью сквозь безвременья глаза.
А пространство веет дымом с островов,
бормотаньем пожирателей голов:
«Тумба-юмба, ёпсель-мопсель, вот те крест –
тот, кто съеден, тот тебя уже не съест!
Он, подрезавший копьем тебя под дых,
очень мягок будет к ужину и тих...»

И над степью самоед гудит напев –
Каин под сорокоградусный сугрев,
цепкозубый, ватно-серый, как партком,
хрящик хрупают над братом-простаком.
Десять басен отрыгнувший индивид,
чьей он косточкой височною хрустит?
То моей, с утра, то, к вечеру, твоей,
бог куриный, царь пропащих голубей!

Целлофаном предрассветный брызжет лёд,
время смёрзлось, изогнулось, но идёт.
Только мерин, старомодный и седой,
с гривой сивой, с задубевшею уздой,
в чернозёмной борозде увязнув, встал, –
седока вморозил в синий виртуал,
где с экрана резво множит стыд и спам
на резиновом ходу герой Ван Дам...

2008

* * *

В осенней хляби, в снежной ли стране,
со смыслом, понапрасну ли – но сгину...
О том и семь зеркал звенят во сне
осколками, семью вестями в спину.

Ведь ты туда, где шрамы ранних крыл,
лопатки, след от прежних махов властных,
от всей души признание мне всадил,
брат-землекоп, подаренный мне наспех.

Но Бог простит тебя, меня, всех тех,
что на Него так явно не похожи.
А в зеркале фамильном брезжит смех:
я – мальчик, на ботинках первый снег,
и мама трёт с улыбкой пол в прихожей...

2008

ДОЖДЬ

Когда, в виду вокзала и тюрьмы,
чадит Чернобыль-сталкер за плечами, —
да сфинксы мы, да, египтяне мы
с пропащими фаюмскими очами.
Там, где не хочет знать своё дитя
навек остолбеневшая держава,
там ожиданье Божьего дождя,
потребность омовенья — долг и право!

И хлынет ливень тёмною стеной,
и будет семь ночей и дней нещаден.
И не оставит ползать ни одной
из плосколобых пустоглазых гадин.
Два сгинут, ибо в сердце их — дыра,
а двести — лишь за то, что молчаливы.
Стрекочет смертник-счётчик. И пора
делить на вечность жалкие поживы...

2007

* * *

*А.И. Шелковой,
ушедшей 96 лет отроду*

Тем прежним дням давно пришёл конец.
Иссякла теплота живого круга...
Прости мне, седовласая подруга,
что всё пытаюсь удержать баgreц
протяжной осени... Я мог бы рассказать,
как мы с тобой друг другу улыбались,
когда ни хворь, ни нищенство, ни зависть
нам не мешали vareжки вязать

семейных дружб. Застольных вечеров
белела накрахмаленная скатерть.
Ещё алтарь, юродив, словно паперть,
и отрок в кумаче ещё готов
принять и горн, и звонкую присягу
тиснёным нечитаемым томам,
гугнивым государственным умам
и помидорноколерному флагу...

Ещё я сам доподлинно горжусь
отечественным ловким луноходом.
Но, говоря с собою неким кодом
ритмическим, я в службу не гоюсь
на море, на орбите и на суше,
а также в тех общественных местах,
где методом баланса на хвостах
полцарства околачивает груши...

Там, Саня, ты и вправду молода!
Тебе всего лишь семьдесят в субботу.

И праздничную вынянчить заботу,
свистать к столу, фамильному оплоту,
ты, по привычке, рада и горда.
И тесный круг тот, скатерти крахмал,
приборов мельхиоровые звоны –
и есть единокровия резоны...
Кто мне рукой оттуда помахал?

Простите мне – я и теперь не тот,
кого, быть может, видеть вы хотели.
Но, буду ль я неплох в пристойном деле,
негромко вспомню вас, мой строгий род.
Петра, Ивана – старших братьев... Спи,
последняя, из всех восьми, сестрица!
Спи, Александра, Пасха ли приснится –
лазурное яичко облупи.

Что помнила, не скрыла. Сберегу
слова, на снимках молодые лица.
Спи, Александра, Троица ль приснится,
приди к огню на тёмном берегу.
Мала игла, и спутан чёрный стог.
И был мне грех – я проводам учился...
Простите мне, о ком не помолился
или молился менее, чем мог...

2000, 2008

* * *

Одно, цепляясь за другое,
готовит батальоны к бою,
войска выводит на поля
баталий, схваток, сечей, рубок,
чтоб губы, мягче донных губок,
пропели благосклонно «ля»,
добавив «соль» и перец к «фа-ре»...
Чтоб взоры женщины, как фары,
сквозь гибель фокус устремив,
первейших выбрали из худших,
дабы продолжился в созвучьях
причинно-следственный мотив.

Одно, цепляясь за другое,
играет цепью дорогою,
и император Константин
дарует отчество мальчонке,
в чьей розовой искрит печёнке
ампер и вольт императив.
Казалось: птицы правду пели,
взмывали дерзостно качели,
и в апогеях амплитуд,
в зените, сердце замирало.
Но выжило так стыдно-мало
солнцестремительных минут...

О гёрл, о птицы-лиры рая!
Кто пил из вас, тот, умирая,
спешит глотнуть в последний раз
из ямки вашей млечной кожи,
из мифа, будто вы похожи
на «Аве» ваших губ и глаз...

И наконец, истец свободы,
влетай в сквозной проём природы,
в постскрипtum, в тот продлённый дух,
где нам уже не одиноко,
как было там, внизу, до срока –
в родильных брызгах стрептококка,
в щипцах и пальцах повитух...

2008

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Гирлянды множат в темноте
блик флорентийца Гирландайо...
Мы – есть, но сгинем в пустоте,
подобно инкам или майя.

Вновь амальгамы дребедень
мерцает в законном свете.
Вздыхает сонно хвои тень,
и ангельски уснули дети.

Вновь счётчик щёлкнул не попад,
мелькнул виток пути земного...
Но, слава Богу, рядом спят
те, для кого – опять всё ново!

2008

У ОВРАГА

Замёрз, обнищал и в сугробе оглох
февральский потрёпанный чертополох.
Овражное семя, разбойный цветок,
колючей, кусачей материи клочок.
Набил снеговой буерака мошну.
Чешуйчатый шарик в руке разомну –
заначка для бедных, кормилец-будяк
щепоткою зерни одарит за так.

Лиловую шапку за лето пропил,
но помнятся гулы малиновых жил,
но зимней морзянкою птичьих кивков
растроганы шишки усохших цветков.
И брат свиристея, и сторож чижа,
за деревом чёрным замру, не дыша. –
Вернётся ли щеголеватая рать
морозное цепкое семя клевать?

1995, 2009

В УПРЯЖКЕ

Мелькают сани-невелички,
и свет под конусом-тарелкой
дрожит. И лампа, груша-дичка,
повизгивает, словно целка,
в объятьях ветра-грубияна
слабея на столбе бетонном...
Завалены окраин раны
целебным снегом многотонным.

И тащит с малым чадом санки, –
сугробною блатною террой, –
кобель, зачатый в перебранке,
пёс-почтальон чепрачно-серый,
бастард Тарзан, полуовчарка,
подкидыш пустоши студёной,
чьё сердце, киновари чарка,
над слободою беззаконной

чеканит пульс так верно-жарко,
так щедро не по-человечьи,
что щиплет рот мне вкус подарка,
что птицы-письма на предплечья
летят... Желток-фонарь засален,
и сквозь метель не разобрать мне:
кто там – отец ли, кум ли Сталин –
командует манёвром рати...

Год, пятьдесят начальный с гаком,
прочь, по ветру, размёл страницы,
год, чьим заснеженным собакам
осталось – только мне присниться...

Затем, чтоб воспарить воочью
над скудным прошлым-настоящим –
янтарноглазой вьюжной ночью,
письмом и полозом скрипящим.

2008

* * *

Углем, маслом, нитью узорочья,
золотом, растёртым на желтке,
я опять Твои рисую очи
в деревянном зимнем закутке.
Мой чердак – скрипучее жилище,
а Твоя, Мария, красота –
хлеб душе и подлинная пища
для доски иконной и холста.
Пусть бубнят о том, что я – волчина,
битый молью бука и медведь.

Смута дней – весомая причина,
чтоб опять в лицо Твоё глядеть.
Пусть не жребий мне – остепениться,
не судьба – нажить товарный вид.
Подоконник мой не голубь-птица,
ворон-ворог за полночь долбит.
Но в морзянке клюва, в мёрзлой порче –
мне слышней иные голоса.
Вновь, Мария, в стыни зимней ночи,
летние Твои рисуя очи,
вижу Сына Твоего глаза...

2008

* * *

Сквер дрожит, словно нюхальщик клея,
словно зимний синюшный алкаш,
мелкой дрожью. И я не жалею
вдоль дороги расплёсканных чаш.
И ни гульбищ не кличу, ни лгуний
с божоле на клубничных устах...
Остываю. Страшусь полнолуний,
усмиряюсь за совесть и страх.

В позднем воздухе – скрип дивидендов
и ни проблеска блажи шальной.
На остатки, на крохи процентов
стужа в кости сыграет со мной.
Сивый конь, что поставлю я на кон?
Ведь не привкус айвы на губах?..
Стылый ветер гудит, аки дьякон,
рвёт бурьян на промёрзлых горбах.

2007

ЗИМНИЙ БЛЮЗ

Вот так и назначено петь – недолёт, перелёт.
И кровь воробья, перья-рёбрышки – посередине.
А ворона сканер нас во поле диком найдёт,
хоть правду сказать, нас давно уже нет и в помине.
Глазищами светишься, песни рифмуешь про бар,
про рыжего пса и готических терний наколку.
Когда-то и я на скамейке хлебал «Солнцедар»,
не друг ни себе самому, ни тамбовскому волку.

В глазах – не контактные линзы, но блюза укор,
минора декор, словно латка на джинсах дерюжных.
Когда-то и сам я втянулся в пустяк-разговор –
в сей блюзовый ритм никому, даже даром, ненужных.
Вот так и судилось дышать – перехлёст, передоз,
расплата отца и раскаянье блудного сына...
Вколи же мне вену твой ломкий неверный мороз,
худышка-сестра, мироносица доз кофеина!

2008

ПЕСНИ О МНОГОБУКВЕ

1.

Многобукв, записной буквоед,
догрызает Шекспировы сласти,
нулевой отодвинув обед –
пресный вассер развратницы-власти.
Франкенштей и Бронштейн – шалуны
по сравненью с мотыгой Пол Пота.
А и он – на пуантах, сквозь сны –
тянет шею к астралу, где нота

пузырится, чумной-земляной,
оспяною раздута щекою...
«По последней, ещё по одной!» –
рать рыжее и ржёт за рекою...
И какой-то мозгляк-ноутбук
с замусоленной клавиатурой
может знать ли, зачем Многобукв,
растопырив коренья, как бук,
нутряною взбухает натурой?

2.

Звуколюб, тугобедренный лук –
звонче Нестора и Че Гевары.
Если в двери подпольщик «тук-тук» –
промеж глаз пузырь «Солнцедара»!
Если ломится в окна Чека –
да святится псалом пулемёта.
Целься в орден и в фиксу клыка,
птица счастья стального помёта!

Буквоед, всенародный герой –
стоит батьки Махна и Фиделя.

За кремлёвской зубастой горой
мелет жёлтые кости Емеля.
И Лимон, книгочех кузен,
оттирает измятою соткой
тот же пепел с очков и с колен,
тот, что в русле любых перемен
оседает над родиной кроткой.

3.

Цукерторт говорит: «Хорошо!»,
но юлит Цубербиллер: «Возможно...»
И тому, кто в пике не ушёл,
снова — эдак и так — будет тошно.
«От винта!» — верещит Цукерторт,
«Херу-хер!» — Цубербиллер картавит.
Ты — не то, чтоб горбат или горд,
по тебя лишь полоний исправит.

Так останься на празднике букв,
и твой родственник Серхи де Седа,
под навесом разлапистых клюков
проведёт с тобой время обеда.
Между целью и мухой це-це
чертит резкий зигзаг гэрр Цузаммен.
И колышется птенчик в яйце,
с непреклонностью в жидком лице
в космонавты сдающий экзамен.

4.

Если тятя похож на тапира,
то подсвинок, наследник-сынок,
на топориках в теле клавира
фарширует-играет урок.
На топориках чешет, на ложках,

на сноровистых мокрых ножах.
Смыслы вьются в грибах да морошках,
отражаются в узких ужах.

Ворониха поит воронёнка,
на гадёныша молится гад.
И черна молчуна селезёнка,
а бюль-бюль – Многобукву не рад.
Сберегите тротил, славолюбы,
свежеватели маленьких драм!
А не то: голубики-голубы
круглый лоб – поделом, пополам.

5.

Чтобы попросту не рерихнуться,
повыйогивался – и хорош!
Чай зелёный из белого блюдца
ты ведь тоже не втёмную пьёшь.
Вне вибрации тонкого слоя,
вне слоений и свёрток пространств
над Холодной, тюремной, горою
леденеет воробышек-станс.

Замерзая, велит Стародруку –
петь моложе, теплей и добрей,
помня время, где к дикому луку
колосками тянулся пырей.
Где хотелось дышать, целоваться,
самой первой касаться руки,
где ещё мотыльковых вакаций
не порвали вороньи крюки.

2008

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Сладкий Хулио в свежем бронзаже, в загаре Иглезиас
закрывает глаза, не кончая, поёт про амор.
В холодильнике – вакуум. Мышь психанула, повесилась.
На стекле ледовитом ветвится январский узор.
В ледниках – и гора Арарат. И ковчег не отыщется.
Азнавур подвывает – про свой, про парижский, лямур.
Жизнь страшит счётами, бедовая баба-обидчица.
По сусекам скребётся мороз – людоед, самодур.

По сараям – чувалы со скарбом, со скорбною рухлядью.
По обочинам – сёла. Промежду сугробов – кресты.
Олигарховы сны громоздятся нагробленной утварью.
Спит неправедный суд.
Засыпай, мой хороший, и ты!
Сладкий Хулио входит в контакт с шоколадной Кончитою.
Педро Гомес протёр справедливой навахи клинок.
Синий спирт сериала над ночью плывёт ледовитою.
Будет день мудреней.
Засыпай, поскорей, мой сынок!

2008

* * *

Хав прорвался по левому краю,
засветил парашют над штрафной.
До сих пор я свой гол забиваю! –
Сквозь июль, сквозь пылищу и зной,
мяч всплывает рыбиною в сетку,
серафимом и сферой парит,
огибая дугой пятилетку
и тотемы стахановских плит.

И за клинья шумеров в ответе,
за всех рун и руин Вавилон,
блещут смуглыми икрами дети,
ибо к насыпям, с южных сторон,
солнце шлёт на холерные травы
цвет и мёд, без фальшивых речей
пустыри оживляя для славы
турбулентных – навывлет! – мячей...

2008

* * *

Налейте парню газводы с сиропом –
с малиновым, по гривеннику доза!
Георгий Жуков скачет по Европам,
грозит кулачной бугроватой розой.
Смолёный жеребец под ним томится,
под спудом орденов, под грузом туши.
Коль на родном юру пришлось родиться,
гордись одной шестой горбушкой суши!

Хромает год, не то сорок девятый,
не то уже пятидесятый... Что ей,
душе-синице? Взята в плен вожатой
отрядной и лазутчицею Зоей.
Окружена прищуром гегемона
и счетверённым профилем латунным...
А всё – гляди! – взлетает беззаконно
над глиною, измятой конным гунном!

Здесь, в стае воробьёв, ты сам когда-то
в тональности чирикал повоенной.
Голь гомонила, выдумкой богата.
Под балкой чердака, в петле ременной,
чернел-деревенел отец Толяна,
ещё вчера тишайший работяга...
Но подсыхал пустырь апрельский пряно,
но пела в синеве предчувствий тяга!

Плесните хлопцу газводы с сиропом,
с вишнёвым, чей краситель – всенароден!
Квадригой вертухаев и гоп-стопом
дни мечены: нечётен, неугоден...
Но ты, кто звуки чуешь всё небесней,

едва ли что-то в нотах понимая,
уже умылся ренессансной песней –
росисто-ранней арией трамвая!

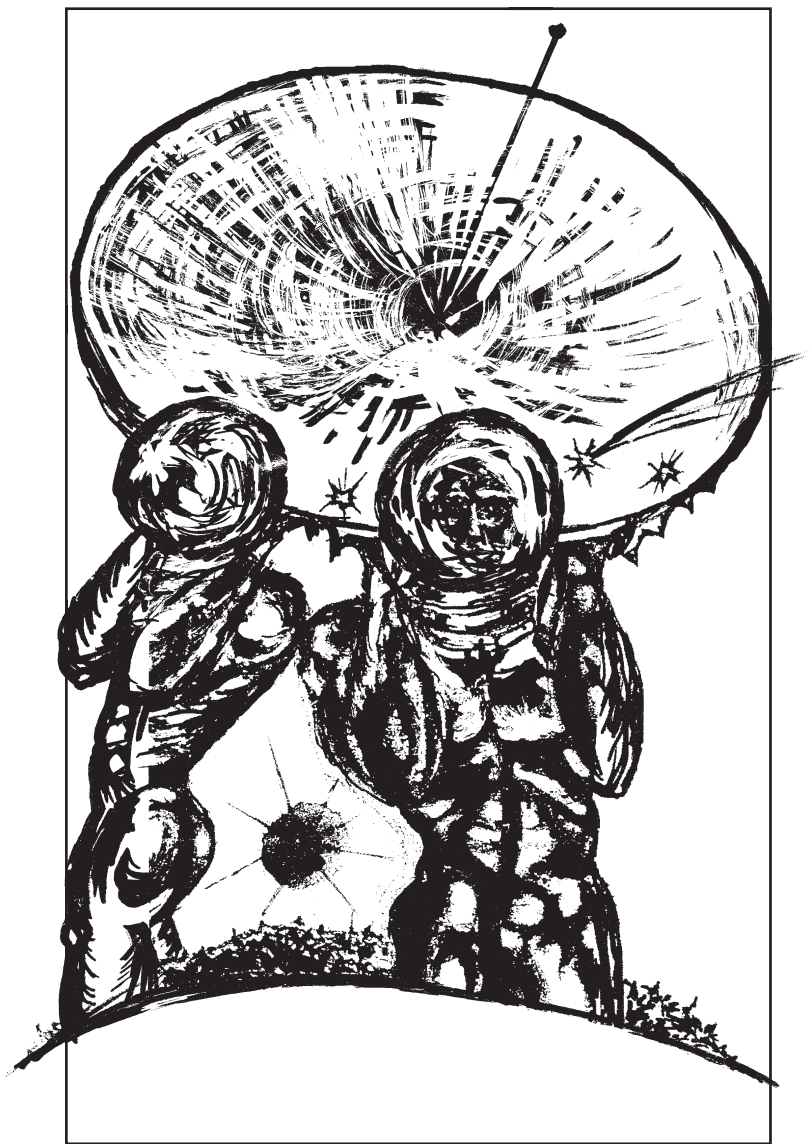
2008

* * *

На небко, солнышко! На облако, жучок,
кровинка-бусина, скорлупка из хитина!
Туда, где звонок летний цокот-каблучок
и где малиновки поют в кустах малины.
На небо, дитяtko! Там и отец, и сын,
седые оба, не удержат слёз при встрече.
Там синь-вино повинных глаз и соль седин –
два цвета времени предельно краткой речи.

Коровка Божья! Краем рая молоко
струится в русле берегов кисельно-щедрых.
И клевер тамошний белеет высоко
над здешней глиною на двух квадратных метрах...
Хранят по струнке золотые байбаки
склон буерака, будто столбики-солдаты.
И город тих теплом апреля. Дни легки,
где мать с отцом опять касаются руки,
где колко-свеж глоток воды из автомата...

2009



С. Шелковий. Атланты, 1967, акварель, чернила, перо.

4

ТИНТО НА ДВОИХ



* * *

Когда, засыпана листвою, хандрит под окнами «девятка»,
когда остатки ассигнаций гулёна-осень раздаёт,
я время мелкими глотками прихлёбываю горько-сладко,
пока солёный пёс тревоги улыбкой не смягчит свой рот.
Пойду, сниму аккумулятор, отдам Витьку для подзарядки.
Глядишь, и ржавая телега ещё, постскрипtum, поскрипит.
И для истории болезни замечу коротко в тетрадке,
что рифмами я – пьян под вечер, а прозой – спозаранку сыт.

По телевизору грызутся славянофилы, люди-братья,
клеймя друг друга, заклиная – отдать последние долги.
Джон-фермер тыкве полутонной раскрыл любовные
объятья,
и под чалмой скрипят зубами чернобородые враги...
Спустишь, проверю всю проводку моей помятой колымаги.
Как абсолютно длинноноги в условных юбках визави!
В разгул пошла контора-осень. – Какие ценные бумаги
швыряют клёны и каштаны, банкиры капищ на крови!

2007

РОМАНС

Всего лишь натюрморт – из луковки инжира
и книжицы стихов в тиснение золотом:
на столике кафе, посередине мира, –
чета простых вещей. Спасибо и на том!
Спасибо за узор прижмуренного солнца,
за полчаса пешком по склону сентября,
за то, что из окна гитары и червонцы
звонят и ворожат: «Сарэ, сарэ патря...»

Как будто – длится день, когда ты тоже пела
романс «Сарэ патря», и колоколец твой
вплетался в магнетизм сияющего тела...
Был ангел смугло-юн, был Амадей живой.
Лиловой смоквы плод подброшу на ладони,
а книжку дочитать не каждому дано.
По воздуху плывёт, в осеннем камертоне,
кленовый самогон, правдивое вино...

2007

ТИНТО НА ДВОИХ

В порту Ливорно хрустнул штопор,
в железном корне обломился,
оставшись в пробке от бутылки
доступного в цене вина.
В Ливорно в полночь мы грузились,
два густо-сивых матрогана,
на белый «Моби Дик» – тирренский
десятипалубный паром...
И вопреки плохой примете,
надлому старого железа,
допили мы бутылку с красным,
какой-то хренью закусили –
увы, но вовсе не сардинкой –
и в полудрёме, под сурдинку,
путь до Сардинии прошли.
Ведь переборки «Моби Дика»
на верных двадцать лет моложе,
чем мой, ещё времён советских,
походный штопор всепогодный,
трудами скрюченный в спираль...
Надёжна молодая сталь,
когда классической идеей
её фарватер осенён!
Вполне целительным был сон
на трёх, обитых красной тканью,
сиденьях «Моби»-корабля.
И утром, в шесть часов, земля
умыла фейс нам влагой-ранью –
держава пробкового дуба,
сушильщица нежнейших губок,
твердыня кодекса камней.

Рассвет к губам подносит кубок,
но да простится шутка мне:
среди скал Сардинии столь сухо,
что, умеряя сушь в гортани,
обречены мы – дань вниманья
вновь отдавать багряным винам,
парадоксально – но сухим...
Открылся остров, как сим-сим,
на сутки. На втором рассвете,
пока сопели сардов дети,
от радостей Санта-Терезы
водой пролива Бонифаччо
до Корсики мы добрались,
два мерина, с рысистой жилкой. –
В пути беседея «за жисть»
и пробку поддевая вилкой,
той, что в Тоскане мы нашли
два дня назад... Пускай в пыли
змей-резонёр мудрит, свиваясь
в узор кольца или петли.
Но щедрых лоз настой-катализ
живит иных спиралей суть:
опять спешим с утра мы в путь –
во имя солнцепробуждений,
«ля» звонкое беря на грудь,
а также «соль». Пусть нет сомнений,
что горче корсиканских тинто,
кислей чернил солёной почвы, –
скудельной, люто-непорочной, –
я редко что и где пивал...
И всё ж под пинией полпинты
глотну! Решимость правит бал!

И стало быть, ты правомочно
опять тризуб в ручищу взял,
орудье флорентийской стали,
ты, шкотов, такелажа, талей
мастак, умелец-мореход!
Вперёд, философ мой, вперёд,
десятка лет моих попутчик,
по дебрям Логоса лазутчик,
учёный скептик-атеист!
Вперёд, ведь утро – чистый лист,
а капля тинто – старт в дорогу!
И не запить – грешно, ей Богу,
колбасной пульпы запах дикий, –
с добавкой перца и гвоздики, –
кабаньей похоти презент...
В разбойной Корсики акцент
закрался экивок имперский,
но запах вепря резко-дерзкий
дерёт щетиной по ноздрям.
Дикарский дух – и ныне там.
Но мела, но индиго фрески! –
Всю зиму, с шапкой, я отдам
за ту апрельскую неделю
снования по островам,
за тех глотков бродяжьих зелье!
Три пары глаз улыбкой там
откликнулись моим глазам –
навстречу путевому хмелю...
И корсиканскому апрелю,
я как сообщнику скажу
и как собрату-менестрелю:
«О да, сквозь тинто я гляжу,
но оком прямо в солнце целю!»

РАВЕННА

Флоренция пинками гнала Данта,
и клювом Зальцбург Моцарта долбил.
И ты, мой продувной, ты, без ветрил
сквозняк-степняк, мой град, – понты-пуанты, –
ещё сто лет пиита не простишь
за собственного облика убогость...
Господь и тем являет пастве строгость,
что всех бедней – в Его часовне мышь.
Таков я сам – импровизатор фраз,
жонглёр гармоник, амплитуд и фаз,
знаток с прадавних пор, не напоказ,
бесплатных интегральных исчислений...

Но к камню Данта в солнечной Равенне,
полуденной не оставляя тени,
в гурьбе икрою выметанных масс,
дальневосточных узко-острых глаз
я приближаюсь снова, – здесь-сейчас
иль там-тогда, – координаты зыбки...
Зеницы-осы, бабочки-улыбки
и акварельных ласточек язык.
И здесь же – спутник мой, почти двойник,
пространство крепко взявший за кадык
герой Угры, Бородина и Шипки

и прочих битв на жилистом коне.
Но маршалы на марше – сон во сне
не мне, другому пехотинцу, в жилу.
Полвека простота моя служила –
кому, зачем?.. «Доколе?» – не вопрос,
зане и ноет шрам, и сломан нос
кастетом. И мотает аритмия

по ямам так, что ямба́м не до рифм.
Всё жрать хотят твой ворон и твой гриф,
край отчима, Горыныча и Вия!
Знать, череп скифа сплюснут навсегда...

Но здесь, в Равенне сонная вода
журчит. Насквозь пропитан полдень солнцем,
над гробом-квадром Данта – гид японцам
лепечет нечто о кругах-путях,
о девяти спиралях-терренкурах,
о свежих, и не очень, новостях,
пропетых в Пятикнижии и в сурах.
И здесь, где далеко за тыщу лет
златятся смальтой своды византийства,
тишь – вдесятеро подлинней витийства,
и девять раз по девять голубь-свет,

слетая на лазурный март Равенны,
готов на ноль умножить брендов бред,
тирады поражений и побед, –
лишь пёрышка касаньем... Вдохновенно
с весной бегут по веткам перемены.
И тишью, так похожей на завет,
ложится в память ясноглазый день
Равенны, где голубка-коломбина
флиртует с тенью Дантовой орлиной
и где сравнима с ядерной доктриной
соском лиловым взбухшая сирень...

2009

* * *

Ваши пальцы веют клевером,
и над вёрсткою рука
между сервером и севером
длит другие берега.
К рукаву прильнёт соломина —
сдуй приبلуду с пиджака!
Всё же всех времён оскомины
не фатальна, знать, пока

длятся умные и серые,
в дымке фатума, глаза...
И пока, в согласье с верою,
краснотал и дереза
копят ангелов на кончике
канонической иглы...
И пока в продрогшем почерке
брови-ласточки теплы.

2008

* * *

Турецких лилий огненные рюмки
на стеблях засыпают утомлённых.
А стебли ног твоих, за флёр юбки,
в своих священных дозревают лонах.
Июньский вечер, негр какаокожий,
плывёт, танцуя, сквозь порочный полис.
Любимый город, на Содом похожий,
допив свой «Бейлис», лапает твой оникс.

Ты – та, что за все баксы не даётся,
но может вдруг, на баттерфляе страсти,
достать до дна пропащего колодца,
чтоб было, чем промыть глаза в ненастье...
На кой же чёрт опять насквозь красивы –
на гибель рифмачу и рок-н-ролла –
и жертвенного горла переливы,
и губ твоих кораллы-баркаролы?

2008

* * *

Летит над тёплой мальвою малява.
Малюй себе, Мальвинушка, малюй!
А ты, Морозов Павлик, птица-пава,
в бессмертье левой-правой маршируй.
Кружит вдогон за майской каруселью
фартовый, весь в наколках, мотылёк.
Подзуживает зюйд к питью-веселью,
макает в маки кисточку восток.

Как семя, всепрощенье расплескалось.
Спеши и алый лепет свой рисуй,
Алёнушка! Минуту, лепту-малость,
большим карандашом живописуй.
А тот малец с пропащими глазами
ни кумачом, ничем не виноват!
Не с Каином сморозилось, но с нами,
сегодня – как все тыщи лет назад.

2008

УТРОМ ЧЕРЕЗ ДВОР

Скажешь, к примеру, «кис-кис» –
ротик, ленивый и розовый,
«мяу» гнусавит в ответ,
«мяу – мясца бы, мясца!»
Отгулеванил июнь
липовым цветом и грозами.
Время – на склоне начал
и на изгибе кольца.

Бросишь, бывало, «привет!»
Мурке ничейной трёхколерной,
утром по солнцу спеша
через дворовый квадрат.
Грацией слепленный зверь,
выскользнув к свету из бойлерной,
брюхо подставил лучам,
полное спелых котят.

Вот он и счастлив теперь
чрева томительной тяготой –
баловень шалых времён,
круговорота начал!
Долу склонился июнь
зрелой черешнею-ягодой.
Тот, кто ещё не прошёл,
вновь, вдоль луча, пробежал...

2007

* * *

Год високосный и август с широкой косою ...
Отче, не выдай! Другой ведь никто не прикроет.
Выпал же фарт – побрататься с сестрой-стрекозою,
с высью, которую надвое рвёт астероид.
В рабских браслетах на Патмос влачат Иоанна.
Тень откровения на сумною суммой – всё гуще.
Близок исход, и, старея стремительно-рано,
прячется солнце дворнягой в терновые кущи.

Сон не идёт, и фальцет петуха предрассветный
дню не сулит возвращенья добра-позитива.
Разве что, чада зеницами вновь самоцветны,
вновь нежноногие нимфы асфальта красивы...
Правда и то, что смутьян-рифмователь колючий,
взвешенный трезвою прозой и брутто, и нетто,
к снегу укроется почвой, промёрзлой по-сучьи...
Ибо всё ближе расплата планиды падучей
и до копыа високосная свёрстана смета.

2008

* * *

Это просто хандра осенняя
и озноб от поспешных выводов...
Остаётся шанс воскрешения
вопреки всем усилиям иродов.
Это оторопь листопадная
настояла на хмеле-золоте,
пятиклинные, семикратные
листья-рифмы, прожилки в копоти...
К чернокнижью ли, лебедь гибкая?
Эка невидаль – крепнут сволочи...

Всё равно ведь, как прежде, зыбкое
закружится во влажной полночи.
Отшуршит, на асфальт уляжется,
тронет очи смиренной мятою.
Верь – неверье нам только кажется,
птица, нежностью виноватая...
Осень – гибели репетиция,
цветомузыка беззаконника,
треугольник – с листком и птицею,
с мокрым суриком подоконника...

2007

В ЯРОСЛАВЛЕ*О. Г.*

Великолепная провинция
вдоль складок местности шуршит.
Запью глотком вина провинности
твои, щетинистый пиит.
Но прежде – за свои погрешности
сестрицам всем и всем серьгам
я в аритмической поспешности
кровицей-буквицей воздам.

Кириллицей, живой брусничной
во млечных высверкну ушах –
взамен слученія с опричниной,
взамен процента в дележах.
Пропорция, глубинно-зыбкая,
отмеренная по струне!
Плеснись осеннею улыбкою
в зеркально-странническом дне!

Ведь только в ясности движения
я вправе стать собой опять –
с бемодем в горле: «Неужели я
и впрямь достоин в дар принять
девичью розоватость осени
и падалиц змеиный мёд?
И метить Ярославлей проседью
тенёт паучьих перелёт?»

Любовница, сестра, провинция!
Не крой по матери меня:
«Твою дивизию!» – Юстиция

не хочет нашего огня.
Но с музыкой, – покуда стужую
не дунет по дороге в ад, –
нам пробиваться, без оружия,
сквозь твой осинник-звукоряд...

2008

НА ВОЛОСКЕ

И пережив звонки трёх собственных смертей,
я этот, – видимо, заслуженный, – подарок,
подобно горстке полинявших детских марок,
храню в запасе среди редкостных вестей
как откровенье. И давно уже не жду
от ближнего ни звука одобренья.
Не кворум движет, но лишь случай вдохновенья
способен зыркнуть за табу и за черту.

Волной воздушною и рябью по воде
продлятся кванты и гармоника антенны.
Я опыт к ночи завершу, чтоб без измены
две строчки формул багрянели на Суде...
Но если эти заклинанья на песке
опять смутят Тебя незрелостью созвучий,
прости, Садовник! Ты и впрямь умеешь лучше
свой глобус-цитрус удержать на волоске...

2008

* * *

Бойся Данаи в обилие рембрандтовых персей
и берегись властолюбья громоздких вещей,
ибо во множестве необязательных версий
смыслы теряются, сроки хиреют вотще.
Охлосу-Фобосу дай его красное мясо,
кости оставь, по заслугам, натруженным псам.
Ноту ль удержишь до Армагеддона-атаса,
детское имя своё прошепчи небесам.

Отклик травы и в конце прозвучит, как вначале,
ибо вся жизнь уместилась в тот утренний час,
где мотыльковые взмахи гамак твой качали,
и отворялся в межбровье сапфировый глаз.
Ноль – равновесие сил на путях человека.
Разве что запах волос и рисунки детей –
в силах вернуть приворот акварельного века,
плески апрельских вестей...

2007

НАД НЕТЕЧЬЮ

С демонизацией поспорит Светлушок –
алмазный пирсинг, местный кастинг у Немышли...
И то отрадно, что лиловый петушок
и ярко-рыжий ирокез из моды вышли,
что ветер-суржик треплет русую волну
твоих волос, копну пшеницы-полукровки,
когда размашисто в двадцатую весну
тыходишь, гибкая, на взлёте котировки.

Поддельным брюликом манящая ноздря
флиртует с хаосом. Но цветик мая Света
глотнёт от дождика и прясть не будет зря
черновиков из белых ниток интернета.
Она, – по вкусу соль и перец, – тет-а-тет
продолжит с тем, кто в этом веке явно пришлый,
зане сама себе – алмаз и амулет
кошачьей радужки, и Пушкину привет –
над руслом Нетечи, над речкою Немышлей...

2009

* * *

Давай подружим! – Кофе пить,
преумножая встречи случай,
а звуки наших несозвучий –
и не винить, и не таить.

Давай опять туда пойдём,
где Надя в дружеском наряде,
где зёрен дух – припёк оладий
каким-то давним детским днём.

Вдохнём простой минуты суть,
когда из жареной ракушки
торчат две туркиных макушки –
не в красных фесках, ни чуть-чуть...

Пусть малый прок в беседе той,
где чашки-лилипуты стыли,
где мы кивком, по-птичьи, пили
глоток горячий и густой.

Всё ткутся дни, всё вьётся нить –
кофейная такая дружба,
когда совсем немного нужно –
вдвоём два слова обронить...

2009

* * *

Жизнь – такая, какая есть:
ей бы выпить да рыбку съесть...
Быль такая, а ты сякой –
с косяком на губе да с рукой
в оперенье шайтан-пера...
Затянулась твоя игра –
быть ни с чем, а звучать обо всём,
плыть то стругом, то карасём,
зреть в упор, как ничтожен вождь,
как верховен – наотмашь – дождь,

как сам путь – косогор, буерак –
молодец, а вот ум – дурак...
Жизни масть – уж какая есть.
Влез на сивку – негоже слезть!
Хоть и правит тобой узда
да бинокль, да пентакль-звезда...
Хоть и едешь за годом год
через пустошь и гололёд.
Дразнишь стремянем лабуду
на ходу – «цок, цок!» – на ходу.

2006

ЗНОЙ

Это царство, закрытая черепа травма,
раскрывает бутоны и чакры с рассвета.
И трамвай, за копейку ишача исправно,
в красно-жёлтых лохмотьях ползёт через лето.

В тополиных гнездовьях галдит бестиарий.
Хоть сирени и смяты изменами мая,
вызревает июнь для лирических арий,
для фатальных слияний: «Сама я, сама я...»

Менделееву солнечный заяц, на темя
попадая, грозит обрушением квоты.
Пузырятся в таблице – лягушечье семя,
кислорода мальки и рыбёшки азота.

Только как ни изыскивай толк в Парацельсе,
в мутноватой настойке, в облатке-пилюле,
всё равно – если не Реомюр, значит, Цельсий –
подсекут тебя жаркой блесною в июле.

И сквозь зной, абрикосом хрустя и черешнею,
градус танком попрёт и мазутным драконом...
Лишь тогда и оценишь минувшее-нежное
первопутье – на клинышке влажно-зелёном...

2008

* * *

Суровость сурожского рыжего пейзажа,
над жертвой темени предобморочный зной –
пропажей мучатся и метят скудной сажей
число безумств в реестре памяти дурной.
Прийти сюда, чтоб снова в зное примириться
с раскладом дня: куда ни кинь, повсюду клин –
клин властолюбия, которым пеших в лица
надменно-конный ударяет господин.

Ау, прожжённое до дыр средневековье!
Твоих эвклидовых обводов цитадель
ржавеет в завтра отворяемую кровью
и новой скупкою кладбищенских земель.
Зачем я снова, и с какой большой подачи,
живьём-зрачком к щербатым плитам прислонён?
К отвесным глыбам вожделенья без удачи,
где, ни о ком давным-давно уже не плача,
шуршит сушняк, хрустит репей: «Армагеддон».

2009

* * *

Подшит ли гурзуфским самшитом,
сиренью ли здешнею пьян,
сканирую взором промытым
размашистых гор дастархан.
Цветёт первоцвет-самобранка,
и снова – ни вычесьть, ни счесть! –
целует под сердце вакханка,
веснянка – невеста и весть.

Флюидами раннего чуда
напитана майская взвесь.
И розовой веткой Иуда
ласкает прогретую жечь
на крыше белёной лачуги
над свежую синькою рам...
Я всё за бровей твоих дуги,
за радугу взора отдам!

Фонтанной пойдём, Пролетарской
вдоль пёстрых дворов, под уклон.
Ведёт башмачок твой татарский
в козырный узорный полон.
Ныряй же скорей, недотрога,
и в душу, и в звонкий карман,
пока не пропил всё Серёга,
дружок-караим, Дамир-хан!

2009

* * *

Мы с тобой вдвоём придём на Суд,
станем над бескрайними гробами,
белый опечаленный верблюд
с шерстяными плотными горбами.
Истрепал халат багдадский вор,
борода слиняла, пооблезла.
Но цветёт узором твой ковёр,
что кладёшь ты всаднику под чресла.

Вновь я на престол Ай-Петри влез,
сел Тимуром меж горбами брата.
Ты и я – лишь прах у стоп небес,
даже если бисером богата
тюбетейка на моей башке
и твоя узда с кольцом сквозь ноздри.
Каждой жилкой, в каждом корешке –
чужаки мы козьей коза-ностре.

Жуй колючку или «Китти кэт»,
всё равно в глазах – табу и мыто
у трудяг, которым места нет
близ щедрот овечьего корыта.
Мы с тобой придём на скорый Суд
в долгом и упорном несогласье...
Над травой крапивницы снуют,
и каймой вокруг седла цветут
сто газелей вытканного счастья.

2007

* * *

Пятничный вечер. Светило клонится
долу. И двое мыслителей мятых –
здешние, по Достоевскому, лица –
ищут, где выпить при малых затратах.
Август. – И город, подстать Хиросиме,
зненом отравлен и чадом бензина
Двое полбанки берут в магазине,
и уплывают вдоль глади витрины.

На августовском пути в Нагасаки, –
после шестого, но перед девятым, –
каждый, не выбывший в Ялту и в Саки,
будет жарой расщеплён, словно атом.
Цвета портвейна, закатное око,
будто гастарбайтер, зырит на запад.
Ноздри проулков вдыхают с востока
шкур и копыт ностальгический запах...

2007

* * *

Чтоб ворочать кубами воздушными
и слоями времён и пространств,
родились мы с тобой непослушными,
нетерпимыми к фальши убранств.
Для снованья небесными сферами
и для выбора координат
нам хребет выпрямляли галерами
Хаммурапи и Понтий Пилат.

И теперь оптимальною хордою
наша лодка, вдоль опта, плывёт –
над землёй, неприкаянно-гордою,
чуть живой от посул и щедрот.
Так не спрашивай времени-имени –
ни за рупь, ни за два не скажу!
Кто я им? – Их усохшему вымени,
их продрогшему, в дым, шалашу?

2007

* * *

И.М.

Путь к родному логову домой
по ничейной бугрововатой стуже —
это счастье финишной прямой,
это всё, что нам осталось, друже...
Приближенье к хворосту-гнезду
колет в сердце, хрупко и обманно.
По родному, в клеточку, листу
пальцы водят грифель покаянно.

Исповедь каракулей проста:
остывает кровь, а ласка снится.
Упадёт с терновника-куста
с прозеленью стёклышко, синица.
А вослед тебя, слезой в гудрон
вмёрзшего средь полночи январской,
под ворчанье заспанных погон
два амбала затолкнут в фургон,
выкрашенный тошнотворной краской...

2009

* * *

В мокрый снег упираются хмурые ели,
воют волки в расхристанной скифской душе.
На дворе, что ни день, то дефолт, то похмелье –
одичанье во лжи, беспредел в грабеже.
На Печерск, на Таганку, на шавку-Шулявку –
грех наследья, курганную глину несу.
А бездомную совесть, пастушку-белявку,
растерзали менты в прокурорском лесу.

Как на «хаммере» к ним подгребли чикатилы,
братаны с центровою Венерой в мехах!
Как глушили водяру-текилу что силы,
как плясали на тёплых ещё потрохах!
С мавзолеем милуются ёлки-голубы,
упыри письменами синеют сквозь снег –
всепланетные джинсы, дзержинские зубы...
Хорошо бы пожить. Только – поздно и глупо. –
Ты один среди них. И один среди всех.

2008

* * *

Мёд Медичи стекает по губам,
и перстень Борджа жжёт алмазом руку.
Ужель я Рим, лиловых пап науку,
в махновском заточении предам?
Ужели мне Флоренции орган
на Пасху будет петь лишь издалёка?
Пожалуй, не прошамкали б упрёка
родной Полкан и отчий таракан,

когда бы от избы упорно-ржавой,
от вседержавной крепкоскулой лжи
под пинии, под Мантуй витражи
отпущен был бы я судьбой корявой...
Мне отроду полуденная прыть
и лепеты бельканто кровно-внятны.
А звёзды ль кликнут – правдою промыть
царёвы уши, я приду обратно!

Но перед тем – Сильвестра Щедрина
и Гоголя приветить на террасе,
на Палантине, на закатном часе,
и выпить склянку папского вина!
Но прежде – знать, как Город вознесён
на семь холмов, на времени излуку,
как перстень Борджа сон бормочет в руку –
сей мраморный, вечнозелёный сон...

2008

* * *

Виолончель, игрунья Василиса!
Как много горлиц, женственных причин,
чтоб вздрогнуть на лету, возвеселиться
в предчувствии апрельских именин!
Как много в небе турманов-записок!
Всё на свету – в почтовом коде глаз.
И жанр кофейной лавочки не низок
на камертоне, на искренье фаз.

Трагичным струнам преданные пальцы
утомлены зимовкою смычка.
Но у весны в уме – камбэк скитальца
и марсианство здешнего сверчка.
И так пропитан запахом аниса
аврелий, властелин и веселин,
что прямо здесь, джин-тоник-Василиса,
прими джек-пот кофейни на почин!

Твой василёк, оттенком чуть в цикорий
и мягких губ расстрельная статья...
Переболевший глупостью и корью
опять захвачен рифмой «ты и я».
Смахни верлибры *на* пол и считалки,
но наш урок сольфеджио спаси,
учителка грехов, очей весталка,
барвинка синь с полян на небеси!

2009

*НА ЭТЮДЫ**А.Ш.*

Коробка красок, две любимых кисти,
таврийский мир, огромный и цветной.
Златится полдень, как алтын в монисте,
и веет в душу чебрецовый зной.
Полгорсти красок, три листа картона
упрячем в перемётную суму.
Холмы – изгибы женственного лона,
соблазны-зовы сердцу и уму.

Уйдём туда, где гнёзда выют агаты,
где каменные башни Карагач
вздывает в небо дерзко и крылато,
всем ханам шах и всем купцам богач!
В коробке красок – цокот сердолика,
а радужка сферического дня
плеснула на картон три звонких блика –
от степи, что арканом пахнет дико,
от пряности гвоздик и базилика,
от синего Ясонова огня...

2009

КОСНОЯЗЫЧИЕ

Тяжеловесность движенья железной фалангой,
рёвы пещерно-шершавые рашен-медведей.
Полных три метра Топтыгина над самобранкой
вздыбится вусмерть – над циклами энциклопедий.
Цокнут все файлы дискеты твоей забубённой,
вспоминаний вопросы с ответами и многоточья...
Слива-гулёна, вся в коже юно-зелёной,
белый июль голышом проморгает воочью.

Глядь – и желтеют в усталых глазах мирабели
прежний, в колючках, кобель и репы вдоль дороги.
Даром мы снова с тобою как лучше хотели,
даже читали в журнале, что будем – как боги...
Вязок во рту примороженный овощ константы.
А не смолчавший – болтлив или косноязычен.
Но и из глотки выдёргивать яблоки-гланды –
больно, как будто и сам ты из большего вычтен...

2009

* * *

Прицел всё тревожней. Всё ближе воронок
вороньи провалы. Дружище, прощай!
Январь – полноснежен, синицами звонок,
но душу не греют ни водка, ни чай.
Но в горло не лезет продажное слово,
а город не терпит некупленных слов.
В добычу его пентаграммы рублёвой
суммирует площадь копейки углов.

Оставь торгашу скарабеево знание,
неси немоту своих дней не скорбя.
Господь лишь затем тебя мнёт Своей дланью,
что метит прицельной любовью тебя.
Так мета Его – окоёмна, огромна,
что редко, кто в силах принять этот дар.
Вот пульс Его, свет – над пещерою овна,
над птицей замёрзшею аэродромной –
живое, живучее сердце-пульсар...

2009

СЕЧЕНИЕ

Давным-давно, когда ещё плескались
по ветру платья красные, в горох,
глотал ты, морщаась, отрочества зависть
к герою, с кем сравниться ты не мог
ни шумной славой, ни счастливой улыбкой
на честном рассекреченном лице.
Озвучив мысль, что Лев Толстой был глыбой,
ты мерил треугольник *ABC*,
в согласье с Пифагором и Героном,
и биссектрисой в точку попадал.

Но там, за фоном дней, за чашек звоном,
звучал, как камертон, иной астрал,
где плыл ты, самым первым космонавтом,
в янтарной капле капсулы «Восток»...
Смириться ли теперь с реальным фактом,
что жизнь прошла, что зря растрочен срок?
Похоже – стоит только раз запнуться,
закрыть глаза на, – малое зело, –
но зло... На слабый зов не оглянуться,
чтоб сквозь тебя – летающее блюдо
по резкой биссектрисе прочь ушло...

2009

* * *

В конце письма поставить «Vale»...

А.П.

Но дюжина цветных мелков в пенале
и через сорок серых зим приснится.
И потому в конце записки «Vale!»
черкнёт летучим почерком десница.
Та, с отсветом, чуть розовым, коробка,
скользящая, в узорах клёна, крышка! –
Среди мелков – то пёрышко, то кнопка...
Дыханье неофита, без одышки,
летит оттуда, от канадских клёнов,
от веток волчьей ягоды за школой.
И длится звук свиданья патефонов
с единственной в округе радиолой.
Там в дымных листьях и в секущей व्यюге
вдруг вспыхнет нечто яркостью бунтарской,
бросая свет на шрамы и недуги
окраины угрюмо-пролетарской.

Сосед под кайфом мне покажет атлас,
морской кашкет при золочённом крабе
и раковину трохус мукулатус,
добытую из филиппинской хляби.
И мастер брусьев, дядька мой, Валерий, –
в белейшей майке, – подытожит «баста»,
отдав мениска хруст и гул артерий
за кубок с изваянием гимнаста.
И «vale, vale!», мама Валентина!
Не брезгуй в нищете румянолицей
козлиной шапкой грубияна-сына
и с младшим, с хитрованом, поделиться...

Там с добрым словом и с едой – неважно.
Такое время там, такое место.
Но – ой, как княжит над землёй овражной
апреля влажноокая невеста!
И дует ветер по-над зоной-дачей,
шпана влетает на ходу в трамваи.
Ещё до драки там спешат со сдачей...
Так отчего лишь «здравствуй», не иначе,
я школе той, без номера, киваю?
Когда в почтовам ящике посланье
найду, листок в линейку из тетради, –
я буду знать короткий стих заране:
лишь «Vale!» там, ни слова назиданья,
ни полстроки о погорелом саде...

2000, 2009

«ЧТОБ В СЛОВЕ ЭТО ВРЕМЯ ОТСТОЯЛОСЬ...»

Сборник стихов известного харьковского поэта Сергея Шелкового «Небесная механика», на мой взгляд, – настоящее событие в нынешней литературной, а точнее сказать, поэтической жизни. И не только потому, что выход каждой новой книги такого зрелого мастера поэтического слова является событием по определению. И даже не потому, что автор имеет немалую читательскую аудиторию, с нетерпением ждущую выхода этой книги.

Существенное значение для такой оценки имеет ещё и тот культурологический контекст, который неизбежно привносят реалии современного литературного процесса. Парадигма «художник и время», наверное, одна из самых ключевых в понимании сущности всякого рода творчества. Тем более, творчества, инструментом которого является слово. Выразить своё время, запечатлеть его дух – вот великое искушение, которое зачастую владеет человеком творческим, человеком пишущим, вот соблазн, так или иначе, направляющий его перо.

Но плоды этого искушения бывают самыми разными и непредсказуемыми. Стремление поспеть за временем, а то и опередить его, всегда побуждало поэтов к поиску новых форм эстетики. Процесс этот закономерен, сложен и противоречив. Однако в последнее десятилетие, к сожалению, в нём доминируют тенденции, которые не могут не настораживать. Так называемая «актуальная» поэзия и её всевозможные апологеты всё более рассматривает форму, лексическую концепцию, фасон «вербального платья» как некий фетиш, нечто самоценное и первостепенное в искусстве. От поэтической манифестомании и агрессивного самоутверждения всяческих постмодернистов, концептуалистов, метаметафористов и прочих искателей небывало новой искренности запросто может закружиться голова, как у читателей, так и у самих стихотворцев.

Сущностная, содержательная часть поэзии всё более отходит на второй план, если не низводится до малозначительного и не всегда обязательного приложения к упомянутым изощренным играм в изящную словесность. Как будто возможно передать дух времени одним только сумасшествием формальных изысков. Вот и получается, что сегодняшняя «актуальная» поэзия отражает и выражает не столько суть стремительно ускользающего времени, сколько громохание его сует и пустот, шипение его пены.

Тем ценнее, что наряду с подобными проявлениями карнавальской литературщины всё же пишется, издаётся и обретает своего читателя иная литература, в которой время преломляется в человеке и одушевляется человеком. И основным предметом такой литературы остаются вопросы, которые от Ноя и донныне составляют суть человеческого взыскания и беспокойства – жизнь, смерть, Бог, любовь, счастье. И не отношением ли человека к перечисленным вечным вопросам, прежде всего, определяется дух времени?

Для меня «Небесная механика» является событием именно потому, что лирика Сергея Шелкового буквально пронизана драгоценным пониманием сущностной взаимосвязи между менталитетом времени и менталитетом человека. И сам поэт отчётливо осознаёт свою художническую миссию.

*Чтоб в слове это время отстоялось,
весь этот подло-неизбежный век,
я, обречённый прозе человек,
держусь упорно за родную малость –
за право окликанья стихов...*

В конце концов, именно человек – насельник, постоялец и кочевник, превращает пространство и время в ойкумену, в обитаемые, преображаемые жизнью измерения.

Поэзия Сергея Шелкового – тоже ойкумена. Уникальная, завораживающая ойкумена. Вернее, обитаемая вселенная,

вмещающая в себя множество времён и пространств. Читателям «Небесной механики» предстоит, на мой взгляд, захватывающее, но далеко не развлекательное путешествие по историческим эпохам, зачастую перекликающимся и «разговаривающим» друг с другом. И это вовсе не переключка блистательных теней из времен Пятикнижия и «глиняного века» Золотой Орды или первого и второго Рима, а то самое неизбежное, насущное взыскание внутренней гармонии с миром и самим собой, которое с помощью искусного пера замечательного поэта способно «оживить» любое время, сделать его мгновением, переживаемым здесь и сейчас.

Но настоящее путешествие по времени, предполагает и полноту пространства, выхваченного фокусом поэтического окуляра. Книга Сергея Шелкового – это ещё и богатое собрание картин, написанных с итальянской и испанской, скандинавской и британской и, конечно, с излюбленной автором крымской натуры. И это воистину роскошная, щедрая живопись. Натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая сцена, эпическое полотно – всё в равной мере подвластно нашему художнику слова, всё проникнуто удивительной чуткостью автора, пристальным и пристрастным постижением самых малых подробностей бытия.

Отражённые в волшебном зеркале метафор и созвучий Эльсинор и Равенна, Валенсия и Андалузия, Феодосия и Гурзуф, Коктебель и Ярославль, начинают подрагивать, шевелиться, наполняться звуками, голосами, движением, пряным и терпким ароматом времени и места. На самом деле, умение создавать ощущение присутствия в литературном пространстве – дар исключительно редкий. Автор «Небесной механики» обладает им в полной мере.

*Но мирным утром клин травы исчерчен
улитками. Кефали косяком
обходят мол, чей абрис чуть увечен.*

*И бурым йодом свежий бриз наперчен,
и мальчик, тонкопеч и безупречен,
спираль рисует ревностным мелком...*

Дышать не насыщаться этим одушевлённым воздухом хронотопов, создаваемых Сергеем Шелковым. И тут, наверное, самое время отдельно сказать несколько слов об инструменте и, одновременно, о материале, с помощью которого и происходит сотворение этих аутентичных очарованных пространств – о языке, присущем нашему поэту. Читая книгу, невольно ловишь себя на мысли о том, что автор непременно должен испытывать наслаждение от своего камлания словом, своей демиурговой ворожбы, от ощущения послушности инструмента и податливости материала. Настолько органично сосуществуют в его стихах сущностное наполнение, троп и просодия. Настолько широка их образная палитра. И какое же там пиршество метафор! От метафор, похожих на текущий золотистый мед, наслаивающихся друг на друга, густеющих от строки к строке, до метафор стремительных, внезапных, обновляющих кровь:

*В виноградных корзинках несут
молодильное мясо искусства...*

Но вернёмся, пожалуй, к тому, с чего начали этот небольшой очерк о нашей книге – к вопросу о месте и значении человеческого аспекта в отображении времени. Может быть, самым определяющим и значимым моментом в преломлении темы времени является для автора «Небесной механики» художественное исследование сменяющих друг друга времён в самом человеке, постижение внутреннего, экзистенциального времени. «Время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время

уклоняться от объятий; время искать, и время терять...» – вот та еkkлезиастова поэтическая планка, которую задаёт себе автор.

И какими бы трудными ни были экзистенциальные поиски поэта, в какие бы разные эмоциональные оттенки ни окрашивалась интонация и настроение стихов, есть в мировосприятии автора нечто краеугольное, незабываемое, придающее читателю ощущение опоры в зыбком и превратном мерцании времён и суеты. Речь идёт о внутреннем этическом чувстве художника, порождающем некую личную иерархию ценностей – жизненных и творческих. Мне этот личностный этический выбор поэта и эти ценности, признаюсь, весьма близки. Близка и та апология исторической памяти, памяти рода и родства, всего, что охватывается ёмким пушкинским определением – «Любовь к родному пепелищу,/ Любовь к отеческим гробам», которая отзывается в стихах Сергея Шелкового собственной пронзительной нотой:

*Но озимь над блудилищем взойдёт –
и распашонку вновь мальцу пошили
всё те же руки матери святой.
Скажу: лишь этой кроткой красотой
мы Господу глаза и освежили...
Его сроднили с нами напрямик
Мария-дева, мать, и бабка Анна.
Преданье это – достоверней книг...*

Близка и понятна звучащая особенно мощно в стихотворении, давшем название всей книге, протестная интонация – неприятие поэтом торжествующей жестокости века, его продажности и тотального прагматизма, его разнузданной пошлости, этой «актуальной» причёски цивилизации, прикрывающей холодную ослепительную плешь эгоизма, равнодушия и страха:

*Механика небес ещё ведёт
луч утра по колдобинам-пределам,
но высь и ось – под гибельным прицелом...*

И, конечно, главное в этой человеческой и поэтической иерархии ценностей – сама жизнь. Именно жизнелюбие, восприятие жизни, как бесценного, удивительного, божественного дара насыщает поэзию Сергея Шелкового непостижимым очарованным светом. В сущности, перед нами книга о принятии жизни и времени со всеми их несовершенствами, книга о любви, преодолевающей все неизбежные и трудные сомнения, весь человеческий непокой. И, что особенно ценно, перед нами книга, надиктованная богатым опытом чувств автора, происходящая из его чуткого и проникновенного созерцания жизни, из дара видеть, слышать, осязать жизнь во всей её полноте и подробностях и сопереживать ей, из дара воистину молитвенно «окликать стихи»:

*Оставь торгашу скарабеево знание,
неси немоту своих дней не скорбя.
Господь лишь затем тебя мнёт Своей дланью,
что метит прицельной любовью тебя...*

В небольшой очерк, разумеется, не вместились многое из того, что хотелось сказать о «Небесной механике» Сергея Шелкового. Но оставим читателю право на собственные открытия, размышления и выводы. Несомненно одно – читателя этой книги ждёт встреча с замечательной, глубокой поэзией, которая доставляет радость и беспокоит, побуждает к диалогу и сопереживанию, заставляет задавать самому себе вопросы, на которые, далеко не всегда есть точные ответы. Слишком уж непостижимо устройство человека и мира человеческого, чтобы в них можно было когда-нибудь до конца разобраться. Ну, разве что с помощью небесной механики

и поэтического слова – единственного летательного аппарата, позволяющего совершать такие вот путешествия во времени. Путешествия, обращающие и само время в поэзию.

*Я бы просил на помин принести
ветку полынную, пряно-седую.
Снова вдохну – и почти не тоскую.
Словно не жизнь проиграл я вчистую,
словно заснул на минуту в пути...*

Это поэзия, которую будут помнить. И как же замечательно-справедливо, что путь прекрасного поэта продолжается, что сама «молодильная сила искусства» оберегает свежесть его зрения и полноту сердцебиения. Остаётся лишь пожелать Сергею Шелковому долгого творческого пути на радость читателям, на благо русской поэзии.

Олег Горшков

СОДЕРЖАНИЕ

1. ДЕНЬ-ПОДЛИННИК

«Круги, овалы, эллипсы и дуги...»	6
«Не забыть, как серёжки черешен и пригоршни песен...»	7
«День-подлинник по-взрослому проснётся...»	8
Небесная механика	9
Над Партенитской бухтой	10
Восточная кухня	11
Снова в Каффе	13
Эски Кыырым	14
Ретро-кино	15
Чемпион	16
Арабески	18
Шествие в Бурхассоте	20
Письма с крымского балкона	23
«Слезой сочится вдоль разреза дыня...»	26
«Тоньше усика земляничного...»	27
Троица	28
Заводская окраина	29
«Пока я в скафандре летал на Луну и обратно...»	31
«В весеннем гоне – дыбом холки...»	32
Старая конура	33
Когда-то в июле	34
«Чтоб в слове это время отстоялось...»	35
Царь-снегирь	37

2. ТЕ, КОГО ЖДУТ

«Пищат птенцы породы воробыиной...»	40
Прядильщик	41
Гостя	42
«Вот книжек дюжина. – Достал ты ближних-дальних...»	44
Ночь в Феодосии	46

Евпатория	47
«Окунается окунь в чернила заката-лимана...»	48
Давай летать	49
Записка из Трира	50
«Анжело Литрико, мой итальянский друг...»	52
К Одессе	53
Трамвай в Аркадию	54
Гроза над мысом Плака	55
Коктебель, 1992 г.	56
Напутствие	57
21 июля 2008 г.	58
«С достоинством простым, без громких плачей...»	59
«И вот теперь – за каждый час спасибо!...»	60
«Вновь подступает средь ночи зима...»	61
«Водчонку ласкал, «Изабеллу», а также «Мерло»...»	62
Инет	63
«Калашник, Стечкин и Емеля с печки...»	64
Заметки из библиотеки	65
«Горлица, – в расцветке капучино...»	71

3. КЛЕНОВЫЕ ЦВЕТЫ

«Апрельский воздух клёны овеивает...»	74
«Это чьим разогретым вином...»	75
«Рыжий кот и пара воробышек...»	77
На Азове	78
«Умная, в умных очках, не спеши на свиданье...»	79
Пролив Каттегат	80
Посадка на остров	82
Гурзуф зимой	83
Слово о плодах	84
«Мандарином повеял сочельник...»	85
«От души хрустит предзимье злым ледком...»	86
«В осенней хляби, в снежной ли стране...»	87
Дождь	88
«Тем прежним дням давно пришёл конец...»	89

«Одно, цепляясь за другое...»	91
Новогодняя ночь	93
У оврага	94
В упряжке	95
«Углем, маслом, нитью узорочья...»	97
«Сквер дрожит, словно нюхальщик клея...»	98
Зимний блюз	99
Песни о Многобукве	100
Колыбельная	103
«Хав прорвался по левому краю...»	104
«Налейте парню газводы с сиропом...»	105
«На небо, солнышко! На облако, жучок...»	107

4. ТИНТО НА ДВОИХ

«Когда, засыпана листвою, хандрит под окнами «девятка»	110
Романс	111
Тинто на двоих	112
Равенна	116
«Ваши пальцы веют клевером...»	117
«Турецких лилий огненные рюмки...»	118
«Летит над тёплой мальвою малява...»	119
Утром через двор	120
«Год високосный и август с широкой косою...»	121
«Это просто хандра осенняя...»	122
В Ярославле	123
На волоске	125
«Бойся Данаи в обилье рембрандтовых персей...»	126
Над Нетечью	127
«Давай подружим! – Кофе пить...»	128
«Жизнь – такая, какая есть...»	129
Зной	130
«Суровость сурожского рыжего пейзажа...»	131
«Подшит ли гурзуфским самшитом ...»	132
«Мы с тобой вдвоём придём на Суд...»	133
«Пятничный вечер. Светило клонится...»	134

«Чтоб ворочать кубами воздушными...»	135
«Путь к родному логову домой...»	136
«В мокрый снег упираются хмурые ели...»	137
«Мёд Медичи стекает по губам...»	138
«Виолончель, игрунья Василиса!..»	139
На этюды	140
Косноязычие	141
«Прицел всё тревожней. Всё ближе воронок...»	142
Сечение	143
«Но дюжина цветных мелков в пенале...»	144

<i>Олег Горшков.</i> «Чтоб в слове это время отстоялось...»	146
---	-----

Литературно-художественное издание

ШЕЛКОВЫЙ
Сергей Константинович

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА

Книга стихотворений

Издаётся в авторской редакции

Компьютерная вёрстка А.А. Калиниченко

Сдано в набор 17.03.09. Подписано к печати 21.05.09.
Гарнитура Times New Roman. Формат 84x108/32.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,88.
Тираж 500 экз.

ООО «Журнал «Радуга»
01030, г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 51-А.

Свидетельство о внесении
в Государственный реестр издателей:
Серия ДК № 1209 от 27.03.03